

# ГРАНИ

GRANI

82

1971

---

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Dezember 1971

*А. и Б. Стругацкие*

ДВЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ



**Улитка  
на склоне**



**Сказка о тройке**

«Улитка на склоне» впервые была опубликована в журнале «Байкал», редакция которого за это подверглась разному, а «Сказка о тройке» — в журнале «Ангара». Обе повести были изъяты.

Книга большого формата, в мягком переплете. Обложка работы художника Н. И. Николенко. В книге 278 стр.

Цена 16.80 н. м. В США и Канаде 5.60 дол.

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXVI

№ 82

1971 год

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Никто. Дисангелие от Марии Дементной. Повесть 3
- АРКАДИЙ ЦЕСТ — Прозрение. «На полпути к вершине  
отдохнуть...». «Отдайся тьме, ее не одолеть...». Стихи 92
- НИКОЛАЙ ГРЕБЕНЩИКОВ — Раздумия. Эссе 94
- ЕЛЕНА МАТВЕЕВА — «Иные, вполне порядочные и либе-  
ральные люди...». «Приход весны всегда неодина-  
ков...» 97

### ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ-АГАТОВ — Арестантские встречи 99
- ПРИЛОЖЕНИЕ: Биографии 120

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Л. РЖЕВСКИЙ — Три темы по Достоевскому (К 150-летию  
со дня его рождения) 127
- А. НЕЙМИРОК — «Россию жалко...» (О романе А. И. Сол-  
женицына «Август Четырнадцатого») 173

### ПУБЛИЦИСТИКА

- ВЛ. Н. ПАВЛОВ — Споры о славянофильстве и русском пат-  
риотизме в советской научной литературе  
1967 — 1970 гг. 183

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Роман Редлих.** О «Непостижимом». — **Ж. Бай.** «Русская литература при Ленине и Сталине. 1917—1953 гг.» — **Д. Руднев.** Миф «самобытности» и реальность религиозности древнерусской культуры. — **О. Можайская.** Муза поет в луче. — **Арк. Слизской.** Воспоминания генерала Врангеля. — **Игумен Геннадий (Эйкалович).** Проблема бессмертия в экуменической перспективе 212
- Обращение издательства «Посев»** 239

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора, не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи редакцией не возвращаются.*

© 1971 Copyright by Possev-Verlag,  
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

---

Издательство «Посев»

## НИКТО дисангелие

от Марии Дементной

*Глава первая*

ГРЁЗЫ ПЕТАТОРОВА

Петаторов замерзал.

Осень закончилась, пошли морозы; на асфальте лежал лед, и всё равно было сыро. Петаторов потрогал лицо — холодное и влажное. Флаги на домах не шевелились и висели тяжелой массой, будто освежёванные телята. С треньканьем жужжали фонари. Впереди на перекрестке мелькнула тень человека, — и опять только мороз напоминал о себе. Сокольники засыпали в тепле и запахах. Петаторов торопился. Нужно пройти еще два переулка и почти весь Новоослепенский тупик. И он тоже очутится в тепле. Слегка беспокоило его то, что два месяца уже он не платил за комнату; не лежат ли немногие его вещи во дворике? Он не появлялся на квартире с неделю, шатаясь по городу и за городом, а теперь мороз гнал его в родную теплую берлогу, где можно лежать на старом пружинном матрасе, курить, думать о вечности и пить дешевый портвейн.

— Тьфу, какой холод!

Подкладку пальто Петаторов весной отпорол, и квартирная хозяйка сшила ему новые брюки. Сукно на рукавах истончилось, местами до полного отсутствия. Засаленный пиджак под пальто не грел вовсе.

---

Эта повесть распространяется в России Самиздатом. — Р е д.

Я, кажется, очень опустился. Летом встретил на Арбате знакомого и отвернулся, терпеть их всех не могу, и услышал, как сказали в спину сострадальчески: «Как он опустился!»

Неужели я выглядел хоть когда-нибудь иначе!..

Им всем главное в жизни «выглядеть». «Как он опустился!» Хе! А вы поднялись, что ли? Соколики! Коршуны! В поднебесье парите!

Когда-то Филипп Аркадьевич был ученым филологом, писал статьи и даже книги. Кажется, года четыре прошло с тех пор, когда он проснулся утром и почувствовал скуку. Господи! Три десятка лет прожил, и всё ни к чему. Синяя птица по-прежнему неуловима, она доверчиво дается в руки только во МХАТе. Сто лет прошло, и каждый вечер актер со скукой ловит скучающую синюю птицу. Петаторов вспомнил, как двадцать лет назад попал в театр и как сидевший впереди пенсионер заплакал и закричал в слезах и соплях: «И мне, и мне!» Стучал палкой по полу и кричал, пока его не вывели. Да, стало скушно, и он ушел из дому. Пытались, должно быть, искать его, виделся с женой и сыном. Они плакали, а он сидел бесчувственный и скучал. Чуть в сумасшедший дом не заперли. Думали — наверно, влюбился доцент; пройдет первая доцентская любовь, — и вернется, куда деваться-то?! Не вышло...

Петаторов бежал по улице. Кажется, — вот.

Он открыл дверь и пошел через начавшую застывать кухню к себе.

«Пожрать бы», — подумал кандидат филологических наук.

Пыхтя, выползла хозяйка и сказала ржавеющим голосом:

— Что-то давно не видать тебя было, Филя. Ты, должно, до Октябрьских ушел.

— Дела, бабуся. Возьми вот двадцатку, остальные за мной будут.

— Неаккуратный ты стал, Филя. Целый год хорошо платил, а сейчас — по случаю. А мне как тяжело! Пензия — тьфу, на одни дрова, привезти да распилить. Ах, Филя!..

— Заработаю — вперед отдам за полгода, — пообещал кандидат, запирая дверь комнаты.

— Неужто, Филя?! — заволновалась хозяйка.

Петаторов слышал, как старуха ушла в коридор и долго, и немощно, со сладострастием, кряхтела в уборной. Щелкнула выключателем и, шепча: Господи, прости нас грешных! — ушла в свою комнату.

— Мяу! — сонно сказала кошка на кухне.

Петаторов вытащил из-за шкафа мешок сухарей и старый воронёный термос. Пусто. Сладкий запах вина пощекотал ноздри, и Петаторов смахнул слезу. Он достал бутылку из внутреннего кармана пальто и поставил рядом с матрасом. Только за этим карманом Филипп Аркадьевич и следил; в него клал сигареты и съестное, а главное — посуду. Карман был новый и добротный, разделенный на секции, по пояс — глубиной, а в ширину — до лопатки. Филипп Аркадьевич поставил на плитку чайник, снял ботинки и прислонил к вылезшему из стены углу печи.

Он улегся и закурил. Потом подумал, что принес сегодня «Венеру в мехах». Ладно, на завтра. Взял стакан и поковырял пальцем присохшую на дне желтовато-белую мерзость. Ладно. Налил полный стакан и посмаковал минутку, словно жених, смотрящий на раздетую и взволнованную невесту в брачную ночь. Мелкими, Филя, глоточками!

оп-оп-оп

оп!

А-ф-фу-у!

«Хороша, сука! — подумал кандидат. — *In vino veritas, sed in quanto vino?»\**

---

\* Истина в вине, но в каком количестве вина? — Ред.

Эх, сухарики, да в чай размочить, да покушать! И прессованный чай — лучший в мире.

Петаторов заварил чай — черный и горький. Сахарку — два кусочка.

Я лежу и пью чай — неторопливо. Когда бывают у меня деньги, покупаю хлеба побольше и сушу сухари. Страшно зависеть от желудка, — на подлости толкает. Так чуть он возмутится — я ему сухарик, сухарик! И чаёк. И замолчи, бедный.

Мне ничего не надо. Виноват, — бутылочку винца, только не водки, я не алкоголик какой-нибудь. Вино мне для фантазии — счастья моего — нужно. Я на службу не хожу, наплевать на всё.

Нигилист?

Да нет, волосы седые местами, какой нигилист? Просто понимаю я многое, так много, что руки опускаются.

Да, так я и живу. Нашел-таки синюю птицу! Господи, сколько их — в каждой бутылке. Пришла ночь, и она моя! «Опустился!» Пусть так, — а если я счастлив? Кто из них похвалится, что счастлив?! С ума, говорят, сошел; правильно говорят, потому что счастье они за сумасшествие принимают. Я вот в окошечко посмотрю на звезды, а потом — на матрасик и еще полстаканчика налью, и опять — мелкими, Филипп Аркадьевич, глоточками! Не торопитесь! И я один, я свободен, мыслью мчусь и там, и тут, преимущественно в прошлом, а как мысль в будущее ткнется, так оно вовсе не светлое, а геенна огненная, крылья мне опалает! Нет уж, сами работайте, лгите, лгите, до конца растлевайтесь, пока на мозге пролежни образуются; растлится вам и не хочется иногда, но иначе не можете, потому что трусость и дряблость душевная до крайности дошла; я вас насквозь вижу. Иногда завопить мне хочется: опомнитесь, пока в душе последняя искорка тлеет, что же вы! Скажите, что вы думаете, а не начальник ваш! И завопил когда-то давно, потому что невоготу стало;



чуть не выгнали с работы, но друзья уладили: оформили справку, что — припадок. И наследственность плохая: деда вздернули как экспроприатора, с отцом тоже сделали нехорошее. А я — счастлив. Говорят обо мне, жалеют, горемыка Филя. А я сижу и вечность чувствую, я, Филипп Аркадьевич Петаторов! Что толку копаться во всем? Ничего нет! Бог умер! Тогда что? Я, Петаторов, сам себе Бог, Бог во мне; ни жертвы не нужно, ничего, счастье мое Петаторово есть!

Налейте еще стаканчик, Филипп Аркадьевич. Мелкими, мелкими, и — эйфория. Ха-ха! Теперь и убить меня нельзя, — нож расплывается, расплывается и — мягкий, как перышко. Ах, Петаторов, помнишь, как ты начал рушиться? Понял вдруг, что ничего нет. Что лгал, лгал до отупения, до скотства; на собраниях говорили: Петаторов! Ты злился, но поправить стеснялся, и крикнул однажды: не Петаторов, а Петаторов! Докладчик извинился и поправился: Петаторов. И я родился я, я, Филипп Аркадьевич! О, свободы нет: и бабуся с квартиры выгонит, и милиция тут как тут, — да всё это по поводу тела моего, а душа чиста, о, бриллиант мой! Вырвалась, нежная моя, бессмертная моя, единственная моя! Вырвалась! Сорвана свиная шкура с драгоценности моей, — я весь перед вами! «Опустился!» Вам бы так опуститься! Ну да, положения лишился, ах, семьи, тепла душевного. «Положения»!

А если ты лжешь? Жалеешь в душе-то?

Петаторов стоял на коленях у плитки и следил за чайником.

— Филя, дай колбаски, — пробормотала кошка сквозь сон.

А если я лгу?

Как вырвать правду из души? Самое трудное — себе сознаться, потому что потом делать нужно что-то. Хорош чаёк.

А вот не лгу! Пусть подозреваю, — подозрение очищает. Попался, раб! Подлости-то еще достаточно, чтобы жить и грезить!

Но не мерзкий, не подлый я, чист душою, как весенний листочек, да. Рваненькое пальтецо, костюм не ахти, но чист!

...И я вот сижу, и страшно мне: я один на один с этой огромной страной, с умершим Богом. Почему мы так несчастны, безразличны? Почему нам всё равно, что рабы? Господи! Почему живут люди как во сне; нужно бежать, обороняться, а руки и ноги ватные, и вновь настигают злодеи, и ломают, насилуют. И ничем не помочь, потому что мы приснились дьяволу, и сон этот вечен. И я сам — Петаторов — могу только спрятаться, скорбеть и с восторгом наблюдать, как капает кровь на снег, на грязь, на пол. Кровь и скорбь.

Мелкими, Филя, мелкими. Не торопись, мало осталось. И не вырвать эту боль, Филя, не залить ничем, не зацеловать красивым губам.

Петаторов закутался в пальто и ватник и стал засыпать.

А за окном стояла зима, очередная зима, когда всё заносит снег и дует ветерок, когда хочется не жить, а улицы залиты плачущим светом качающихся фонарей, и по улицам и переулкам ходит мало-мало людей, — они умрут этой ночью. Они готовятся, у них нет уже времени, и неважно — холодно или тепло. И ветер бросает им то в спину, то в лицо сухой снег и поет самодовольно-академическим голосом: нет у тебя никогоооо... никооогооо... ты один... скоро я принесу снееег на твоюууу могииилууу... ааааааа...

В такую ночь мужчины спрашивают с тревогой у прижавшихся к ним женщин:

— Ты меня любишь?

— Да...

## НИКТО

— А ты?

— Да!

Они лежат на теплых постелях в теплых комнатах за каменными стенами домов, дома стоят на городских улицах, а бесчисленные города потеряны в огромном пространстве, называемом Россией. У нее никто ни о чем не спрашивает, и она лежит, бескрайняя и холодная, и мертвыми глазами смотрит, и даже не смотрит, потому что глаза занесло снегом и пеплом, они напоминают о лице античной статуи. Россия мертва, а люди —

### *сон Петаторова*

Петаторов бежал, замерзая, и никого не встречал. Вечером неожиданно ударил мороз, и город заледенел до весны. За углом он наткнулся на бочку с пивом; недвижно стояла очередь, рука продавщицы лежала на кране, из него торчал столбик прозрачно-желтого пива. Правая рука покоилась на горке медных денег. Пьяный замерз с кружкой в руке, другие сидели, прилявась к колесу бочки. Из открытых ртов не шел пар; у одного остался в зубах хвост селедки. Женщина тащила от бочки мужа. И замерзли. Милиционер держал во рту свисток и поднял палочку вверх; машины не двигались, только светофор еще вспыхивал. Озабоченная старушка с поленом под мышкой не успела перейти улицу. В телефонной будке с разбитым стеклом стоял мужчина и хохотал в телефон: ветер успел наместить ему сугробик на язык... Милиционеры, бившие прохожего дубинками, застыли в различных па служебного танца.

И сколько ни метался Филипп, не мог найти живого человека. Снег медленно падал на застывших людей, они белы и красивы, и не слышно звуков речи.

Он выбежал на Садовую и увидел колонну воинов. Они маршируют четко и слаженно. Маленькие отряды отходят в переулки. И тогда начинается истребление замерзших. Воины легко раскалывают людей, те — со-

сульки — ломаются со звоном. Филипп идет за ними и видит, как они набрасываются на статую Пушкина и рубят, рубят, мечи тупятся, а из медных шрамов течет горячая красная кровь, покрывая льдом бульвар и площадь. Филиппу кажется, что в подворотнях прячутся фигуристы, мгновение — и закружатся веселые пары на кровавом катке.

— Болваны! Разве непонятно, что это памятник! — гремит военачальник.

«Это же нашествие царства египетского!» — думает Филипп Аркадьевич.

А египтяне колют людей, точно лед.

Петаторов замерзает. Он рвет колючие лапы холода, он леденеет и видит Надю, которая льет на него кипяток из чайника, но вода схватывается, Петаторов покрылся толстой коркой льда. Он с трудом разевает рот и говорит:

— На-теш-та, пе-ги...

К ним приближается воин и заносит меч для удара.

«Не надо! — хочет крикнуть Петаторов. — Я чист и хрупок, как лед, по-ща-ди!» — и услышал треск своего раскалывающегося тела.

## *Глава вторая*

### *НА ЧТО ЖИТЬ?*

— Уф!

Петаторов проснулся от холода, дрожа и натягивая на голову пальто без подкладки. Бабуся растопила печку, и полешки запрыгали и запищали, как кролики.

— Мяу! — сказала кошка, приоткрыв мордочкой дверь.

— Мяу! — сказал Петаторов. Кошка замурлыкала и протиснулась. Она подошла к матрацу и внимательно посмотрела на постояльца.

— Ну что, киска, есть хочется?

— Еще бы! — сказала кошка.

## НИКТО

— Ладно. Если сегодня что раздобуду, — непременно угощу.

Кошка одобрительно поколотила хвостом по бокам.

— Эх, киска, холодно, и вина нет, и поесть нечего. Ладно, образуется всё.

Петаторов встал, надел пальто.

— О, засмейтесь, смехачи! — сказал он и вышел на кухню.

— Бабуся, дай картошечку.

— Нá.

— Спасибо! Еще бы одну.

— Хватит! Десятку когда отдашь?

— Буквально очень скоро. Чайку бы чашечку.

— Пей, что с тобой сделаешь!

— Не ворчи, старая. Рука дающего да не оскудеет.

— Иди, иди!

Петаторов съезжился и вышел на улицу. Дворники сыпали песок на обледеневший тротуар. У гастронома стояла толпа с задранными вверх головами; из ртов торчали бутылки, словно горны, готовые запеть о торжестве. Увы! Только бульканье пива донеслось до Петаторова. Опохмелялись. У него защемило сердце, он отвернулся и со скучающим видом прошел мимо.

Туман висел клочьями, неподвижный. Кто-нибудь проходил, серый клок спохватывался и делал движение к человеку, отставал и грустно повисал снова. Петаторов вышел к вокзальной площади, его затолкали, затискали и согрели. Он прошел под мостом и свернул на Каланчевскую улицу. Переулками, полными косых и грязных домишек, вышел к Мещанке. Здесь, в Сиротском переулке жил его друг Юлий Шептунов, не имевший определенных занятий. Петаторов зашел во двор, крикнул: «Юлий!», по гнилым доскам в подъезде перебрался к лестнице и поднялся на пятый этаж. Дом напоминал богадельню: длиннющие коридоры и множество дверей. Здесь жили тихие незаметные старушки: слушали радио, шамкали друг другу новости внеш-

ней политики, варили пшеничную кашу и картошку. Петаторов вошел и услышал из кухни разговор.

— Та... Корарь в просланство запустить — это тебе не кот за хвост тернуть...

— Да, это машина сплошная...

В глубине туннеля-коридора стояли две старушки и скучно дрались. Одна ухватила за оставшийся пучок волос над правым ухом партнерши и силилась его выдернуть. Жертва без энтузиазма взвизгивала, не от боли, — а соблюсти приличие.

Приятели дошли до самого конца коридора. У двери шептуновской комнаты стоял огромный ящик из-под телевизора, в котором Юлий хранил картошку. Комната была в три человеческих груди шириною и длиной в два человеческих роста. Прямо при входе начиналась узкая кровать, у окна — стол и стул, проигрыватель. На стенах коллекция солнц — золотистые, красные, синие, зеленые, веселые и горестные солнца; они как бы освещали комнату. Над дверью — полки с книгами.

— Хочешь чаю, Филипп?

— Не откажусь!

Юлий ушел на кухню, а Петаторов лег на кровать. Ему было тепло и хорошо: он у друга, сейчас попьет чаю и поговорит с Юлием; с ним можно говорить обо всем. Юлий всё понимает, и опасаться его нечего. Неужто в этом мире можно доверять?! Да, да, и потому мир еще не развалился. Люди прицепились друг к другу, висят на тоненькой ниточке доверия — над пропастью. То один, то другой срывается, потеряв всякую надежду начать жить; и этих людей толкает в спину толпа сограждан: в мундирах и без оных, добрых и злых, и прочих, прочих...

— Возьми стакан, Филипп. Кстати, как у тебя с деньгами?

— Нет.

— У меня тоже туговато, но вчера продал хорошую книгу за такие же деньги, вот трешка.

— Спасибо. Ты добр ко мне, Юлий. Я сам уже ничего не могу заработать. Я устал от недоброты. Как нам не повезло, Юлий! Мы попали в ад и живем! Ты моложе меня на десять лет и ты, может быть, видишь выход. А я отравлен. Я не вижу способа остановить людей, — они идут на пиршество Люцифера и рвут друг у друга куски, чтобы придти упитанными к нему на стол! Бога нет, Он умер, и в душе у них вместо Него — политграмота.

— И все-таки, Филипп, доброта дремлет в них, и она проснется... Я уверен.

— Ха-ха! Доброта их не идет дальше, чем уступить место старухе в автобусе. Потенциальная доброта и царствующее зло! С чего бы проснуться первому? Нечистая сила слишком изобретательна, для нее каждый холуй — работник. Что такое Бог? — настрой души, доброта; а хам? — тоже настрой души. Что делать, если внутри сидит хам, не выкурить! Нет, Юлий. Люди изыграются до смерти, до ничтожества. Порвутся тонкие струны и — конец — смерть. Я-то вовремя сбежал! Впрочем, именно тогда, может быть, через смерть и кровь очистится зверь и станет человеком? И опять: кто победит на этот раз: Бог или хам? И самое ужасное, Юлий, из-за чего мне больно-то, — я не верю, что будет этот раз...

— Филипп, чай остывает.

— Да-да.

Петаторов взял кружку и снова лег. Он волновался.

— Филипп, ты пришел ко мне за утешением?

— Да! Помоги мне. Скажи, что ты думаешь. Скажи, Юлий! Мне тридцать шесть и уже всё надоело. У меня убили отца, так, запросто, — взяли и убили. Я учился и, вместо филологии, изучал труды семинариста. О, Господи! А потом — кошмар: с тираном не умер-

ла тирания; она гибка и хитра, она вечна, потому что поселилась в людях...

— Филипп, я расскажу тебе притчу. При всей твоей учености ты ее не знаешь...

*притча о сундуке*

Случилось так, что некоторые люди очутились в темном и непроницаемом для света ящике — старинной работы сундуке. В нем можно было стоять и даже ходить, и только. Нечистая сила прыгала и скакала на крышке; люди еще помнили, как выглядит Божий свет, и хотелось им выйти в мир — и жить! Они народили детей, состарились и умерли. Дети росли с зелеными личиками и слабыми головами, среди них, вследствие отсутствия воздуха и солнца, преобладали рахиты с мягким прогибающимся черепом. Они тоже рожали детей, сажали картофель и — старились, и спокойно, с чувством собственного достоинства уходили в потусторонний мир. Однажды в углу сундука обнаружили древнего старца, который прошептал: «Я умираю... Я много знал и даже помню то время, когда не сидел в сундуке! Это было прекрасно! И всю жизнь в крошечной тьме я писал трактат 'Как выйти из сундука'». — И старец испустил дух. Трактат зеленолицые прочесть не сумели, потому-то по-прежнему царил мрак. Изредка с наружной стороны стучали; одни говорили с радостью: о, сундук ремонтируют! Наверно, набивают железные полосы! Как хорошо! Мы можем спокойно жить и работать на посадке картофеля! Некоторые печалились, но виду не показывали: тайно, когда другие спали, они забирались к потолку-крышке и пробовали ее открыть, но на крышке прыгала и плясала нечистая сила. И вдруг у нечистой силы случилась беда: дужка замка проржавела, и замок свалился! Зеленолицые затряслись от страшного грохота, а самые смелые и любопытные забрались к потолку и приоткрыли крыш-



ку. В сундук ворвался ветер и солнце! Многим зеленолицым сделалось дурно от потока свежего воздуха, и они заплакали, думая, что умирают. Нечистая сила прыгнула на крышку, спохватившись, и совала в петли то морковку, то кочерыжку, а любопытные толкали снизу! И нечистая сила не может до сих пор прихлопнуть крышку: то полá попадет под край, то руку зеленолицые положат, то голову, — и летят головы. Очнулись зеленолицые и боятся теперь уже: а вдруг захлопнут?! мы задохнемся!

А в мерцающем свете на дне сундука другие зеленолицые читают трактат седобородого старца «Как выйти из сундука». И прочие зеленолицые потихоньку людьми себя чувствовать начинают, хоть и боязно им, но догадываются уже о прелестях света и свежего воздуха.

Петаторов лежал на койке бледный и смотрел на сотни солнц, развешанных на стене.

— Хорошая притча, — сказал он.

Юлий разлил остатки чая.

— Ты думаешь, хватит голов-то под крышку класть?

Юлий пожал плечами.

— Юля, — прошептал Петаторов, — помоги мне поверить в это...

С болью Шептунов посмотрел на Филиппа: лицо желтое, рваное пальто, кусок одеяла наместо шарфа.

Ничем ему не помочь... ничем, трам-та-ра-рам!

— Юлий, — Филипп Аркадьевич вскочил и наклонился к Шептунову, — Юлий, — шепотом сказал он, — а знаешь, какова последняя строка трактата?! — Петаторов захихикал. — «Чтобы выйти из сундука, нужно увидеть Божий свет».

Шептунов вздрогнул, поразившись убежденности в голосе Филиппа.

— Какая у тебя вера в несчастье!

— Да, да! — закричал Петаторов. — Это единственное, с чем я встречаюсь ежедневно, ежечасно! Это не легенда и не мечта! Я ни разу не сказал незнакомому человеку, что я думаю — даже о футболе! Я лгал студентам, а потом приходил домой и пил, чтобы забыть их доверчивые лица! А потом я понял: они знают, что я лгу и не могу не лгать! Что у меня работа такая! Я продавал душу разливочно и навынос! Я брал перо, — и оно привычно выводило лживые слова! И никто им не верил, потому что они были напечатаны в России и автор не сидел в тюрьме.

Петаторов изнемог. Он дрожал, пот лился со лба.

Шептунов каменно смотрел на солнце Ван Гога.

— Ты этого не испытал, Юлий. Ты — невинный нищий, а я — изнасилованный. Я растлен. Ко мне подошли и спросили: о, вы еще не в партии?! И я мямлил: да я еще не подготовлен, да я еще... И меня ласково спросили: что вы хотите? работать над латинскими авторами здесь или преподавать арифметику в Бугульме?.. Они знали, у них проверенный метод, они знали, что я — обыкновенная блядь!

Шептунов пошевелился.

— Филипп, но сейчас-то всё хорошо, ты свободен, ты ведь не лжешь мне?

— Не знаю. У меня ничего не осталось. Я — как безумный старик на пепелище — найду чугунок или ленточку внучки и плачу от радости. Мне нечего поставить на карту, я — нищ. Что я вырвал из пасти Молоха? У меня только и осталось — ты и хозяйкина кошка.

Шептунов повернулся к проигрывателю и поставил пластинку с органной музыкой.

— Юля, нет ли еще чаю? — спросил Петаторов, сникший и посеревший.

Шептунов взял чайник и ушел.

Я побегу куда-нибудь. Мне нужен холод и нищета, чтобы ничего не помнить! Всё забыть, слишком много

## НИКТО

думаю. У меня две колоссальные заботы — хлеб и вино. И почитаю что-нибудь...

Хлеб.

Вино.

Десять рублей хозяйке.

Колбаски для киски.

Петаторов слушал Баха, и ему становилось спокойнее и лучше. О, печальные братья! Мы рассеяны по всем странам и векам, и мы протянем руки друг другу, и поддержим слабых и падающих, мы сильны, потому что среди нас — и Бах, и грустный Франц. Наша скорбь сильна, и какое-нибудь слово или звук переполнит чашу, и хлынет поток стонов, предательств, любви и горя, и ужаснутся люди и увидят, каковы они есть. Это сделаем мы, печальные братья. Кто, кроме нас, скорбит о так и не состоявшемся человеке, кто, кроме нас, проклинает самодовольного раба?

— Юлий, — сказал Петаторов вошедшему Шептунову, — я поеду обедать к сестре, месяц не был.

— Остался бы. Есть картошка, полселетки, сварим-почистим-съедем.

— О, Юлий, зачем тратить на меня столько всего, когда можно пообедать у родственников?

Они пошли к выходу по узкому туннелю.

Две старушки перестали драться и гнусавили в углу.

— Вот я и говоню: ихние накеты хуже наших летают.

— Та... Вот по ратио перетавали: опять запуск отлошили, потому как непорядок...

— А наши — пнавильные: фьютъ — и тама, фьютъ — канточку с луны сделали...

— Та...

— Заходи, Филипп, — сказал Шептунов. — Работку найду какую — попроще.

— Спасибо, Юлий. Зайду.

«Эх, Филипп, — думал Шептунов. — Горький ты человек. Смяли и растоптали тебя. И не жить тебе. И чем скорее умрешь, — тем лучше. Если б хоть женщина тебя полюбила, — воскрес бы слегка, а потом замучил бы ее словами чистыми и беспощадными, анализом бы затравил. И сам бы умер, — мучаясь, что ни за что погубил. Впрочем, и сам он знает, что никто не согласится боль за него понести».

И Шептунов представил себе, что Петаторова нет уже. Больно стало, и одиночество сдавило горло, и сладкий ком поднялся изнутри.

стоп Юлий рано Фильку хоронишь стоп

Шептунов вернулся в комнату. Сегодня предстоит важное свидание с товарищем Шулятко. Он вытащил чемодан из-под кровати. Так... пачка журналов... и книгу он просил. Лоуренс. Хм, Шулятко и по-русски плохо читает... Ограничусь, ладно, шестью журналами и открыточками...

. . . . .

Э, да сегодня сильный мороз. И тротуары обмерзли. Эк!

Шептунов ехал к центру города. Недалеко от станции подземки стоял большой мрачный дом, увешанный мемориальными досками. Здесь проживал товарищ Шулятко. Занимал он такой пост, что даже про себя Юлий боялся его назвать. Не знать — спокойнее. Не знаю — и всё. И слава Богу, что не знаю.

И Шептунов вошел в подъезд. От стены отделилась фигура, задрапированная мебельной тканью.

— Куда? — спросила фигура.

— В квартиру тридцать семь.

Задрапированный человек вытащил бумажку и сверил с часами.

— Фамилия?

— Шептунов.

## НИКТО

- Звать?
- Юлий Адамович.
- Год рождения?
- Сороковой.
- Проходите.

Шептунов поднялся на второй этаж и позвонил. Дверь открыла красивая мускулистая девушка.

— Скажите, пожалуйста, товарищу Шулятку, что пришел Юлий...

— Один минута! — отвечала красавица с сильным французским акцентом.

От сквозняка дверь болталась, громыхая цепью. В который раз Юлий поразился этой цепи — великолепно обработанной, видимо, вручную. Девушка вернулась и сняла цепь. Провела Шептунова в маленькую комнату; мебели — стол и два стульчика. Окон нет. В стене маленькая дверца, похожая на ту, которую отпирал Буратино золотым ключиком. Дверь в коридор отворилась и вошел товарищ Шулятку — полулысый, статный, без морщин, с мелкими красноватыми глазами. Пижама и туфли.

- Что принес?
- Шесть журналов и фотографии.
- Сколько?
- По десятке за предмет.
- Пятьдесят.
- Семьдесят.
- Я мог бы получить все эти журналы бесплатно.
- Я понимаю, — медленно сказал Шептунов. — Но я понимаю и то, что лучше их получить от меня за деньги.

— Покажи предметы.

Юлий развернул журналы. Глаза Шулятку затлели.

— Хм! То, что нужно.

И Шулятко с деланной небрежностью рассматривал фотографии обнаженных женщин в различных позах гимнастики по системе йогов. Шулятко не заметил, как рука его вытащила бумажник и безошибочно отсчитала семь красненьких.

— Я вам больше не нужен?

— Что?.. — сказал Шулятко. Он достал увеличительное стекло и, волнуясь и розовея, разглядывал причинное место на фото.

— Погоди! — сказал он вдруг и заговорил отрывисто: — Мне нужен надежный человек на полчаса каждые две недели.

— Педераст? — быстро спросил Шептунов.

— Нет! — морщился Шулятко. — Вечно у тебя на уме скабрзность! Ему ничего не придется делать такого, только походит у меня в комнате (он указал на маленькую дверцу в стене), держа... ну, скажем, в руке... гм... что-нибудь металлическое...

Шептунов перерыл в памяти десятка два извращений. Ничего подходящего.

— Хорошо, — сказал Юлий. — Я постараюсь. И так, сто — ему, десять — мне за посредничество. Причем мой человек не терпит никакого урона.

— Конечно! Но — надежного, чтоб не болтал где попало. Проболтается — посажу его и тебя. Иди.

— До свидания, товарищ Шулятко.

— Тулуза! — позвал хозяин. — Проводи Юлия.

Молчаливая мускулистая девушка закрыла за Шептуновым дверь. Загрохотала цепь.

В подъезде дежурил тот же.

— Стой! — сказал он. — Откуда?

— Из тридцать седьмой.

— Фамилия?

— Шептунов.

— Звать?

## НИКТО

— Юлий Адамович.

— Год рождения?

— Сороковой.

Человек вынул фотоснимки, сравнил их с Юлием.

— Вошел в 11.00?

— Да.

Фигура наклонилась к стене:

— Петя, выходит № 966. Идентичен со снимками.  
Как у тебя?

— Порядок! — прошептала стена. — Выпусти.

Шептунов открыл дверь и вышел. Вытер вспотевший лоб.

Вот и не пыльная работка для Петаторова. Сто рублей за полчаса! Сможет снять хорошую комнату с женщиной, приоденется...

. . . . .

Старик бросил в ванну хвойные таблетки. Доктор сказал: принимать лечебную ванну дважды в месяц по десять минут. И целых пять месяцев. Потрогал воду — горяча. Ах да, сегодня купил песочные часы — не пересидеть бы. Старик зашаркал в комнату и взял с подоконника сверток. Выглянул в окно. Холодно там. Дом напротив стоял мертво, завесив глазницы портьерами. Старик увидел, как из подъезда вышел человек, постоял и пошел куда-то. «Странно. Оборванец какой-то». Он снова поглядел на дом, — мерзкий холодок страха прополз в животе. Хоть бы кто выглянул! Словно там слепцы-мертвецы поселились! Старик ушел в ванную и опустил пальцы в зеленую воду. Пахло сосновыми досками. Теперь хорошо. Он снял пижаму, кальсоны и рубашку, пододвинул к ванне табуретку, осторожно — чтобы не поскользнуться — положил свое высохшее ненужное тело в горячую воду. Аааай, хорошо! Тепло разливалось по суставам; старик тихонько перевернул часы.

Глава третья

ОБЕД У РОДСТВЕННИКОВ

Петаторов бежал по замерзшей улице.

Что интересно этим людям?! Очнитесь! Барабанщики, тревогу! Горнисты, тревогу! Вылезайте из нор! Бейте!

Трубите, трубите!

Пока не поздно! Трубите!  
Не отдавайте горна Архангелу, — он пропоет о другом!

А?!

— Разве можно бегать перед близко идущим автомобилем? — ласково спросил милиционер.

— Нельзя! — испугался Петаторов и подавил в себе желание стать на колени. И забормотал, как молитву, из Вл. Соловьева:

Я порядка не нарушу, —  
Но имей же состраданье:  
Не томи мою ты душу,  
Отпусти на покаянье!

— Ладно, иди так.

Сестра жила на другом конце города. Петаторов сел в автобус — и ехал.

Будет ли она рада видеть братца? Какая разница. Накормит, не прогонит, — перед соседями стыдно. Ха-ха! А ведь ей неприятно: доцент, труды печатает, уважаем, — и вдруг свихнулся. Позор семейный!

Ха-ха! Ха!

Я еще мало вас о п о з о р и л ! Доцентом был, ха! ха! Из грязи — да в кандидаты.

Поестъ бы. Наверно, стопочку подаст. С мужем — непьющие, а праздник разыгрывают по программе. «Чтоб всё, как у людей». О, сестра передовая. Президент Комитета Домовых. Идеологически выдержанная



## НИКТО

сестра. Когда ушел отовсюду, — приезжала. «Как тебе не стыдно, Филипп». Я рассмеялся ей в лицо и сказал спокойно: уходи, родная, я сверну тебе шею. И родная ушла.

А потом смирилась, — брат ведь. Прислала через Надю письмо. Приходи, мол.

Автобус громыхал на ухабах. И — пошли коробочки, коробки, коробы с отделениями для людей. Живите, милые.

Как серо и скучно! Кто-то сказал (Гёте?): архитектура — застывшая политика. От блестящих шутовских бубликов на шпильях — до коробочек...

— Конечная! — крикнул шофер. — Эй, парень!

«Эй, парень». Это мне. А что я? Я порядка не нарушу...

— ... Здравствуй, дорогая Лариса, как я рад тебя видеть! — с пафосом сказал Петаторов.

— Здравствуй.

Петаторов сбросил пальто — и на кухню.

— Здравствуй, суп, как я рад тебя понюхать!

— Сейчас обедать будем, помой руки, Филипп, и иди в комнату.

— Дядя Филипп пришел, — обрадовался племянник.

— Здравствуй, племянник! Ты всё такой же болван, как и прежде?

Насупился.

— Здравствуй, законный муж моей родной сестры! Ты всё такой же...

— Перестань, Филипп! — оборвал его Алексей Семенович, муж Ларисы и начальник отдела. И ушел на кухню. Там зашептались, потом заговорили громко.

Петаторов слушал ссору с наслаждением.

— Он... он — пятая колонна в нашей семье! — кричал Алексей Семенович. — Он попрам самое святое, я уже не говорю об элементарных нормах поведения! Ему место в сумасшедшем доме! Выгнать его из города-героя! Полиглот паршивый! Тунеядец!

— Не надо, Алешенька, он такой несчастный, он ведь совсем один, ведь он больной... Не устраивай скандала, ну пожалуйста. Он приходит к нам раз в год, потерпи немножечко...

— Он развращает нашего сына! Посмотри, как мальчишка ему радуется, полгода только и говорит: дядя, дядя!..

Петаторов потеплел.

— Племянник, — сказал он. — Не злись. Я не простой дядя, я — сумасшедший дядя. Поговори со мной. Ты, кажется, школу заканчиваешь?

Племянник сиял.

— Да. Дядя Филипп, я буду — как ты — филологом.

Филипп Аркадьевич смутился.

— О, племянник мой, ты тоже хочешь сойти с ума!?

— Нет, дядя, ты не сумасшедший, ты благородный.

— Да, я благородный сумасшедший...

Сестра внесла дымящуюся кастрюлю.

— О, наконец-то! Как тебе идет эта кастрюля, дорогая сестра!

Алексей Семенович молчал. Сестра резала мясо.

— Сестрёнка, — мягко сказал Петаторов. — А это-то... ну, как его... не найдется?

Лариса молча встала и подошла к буфету.

— Спасибо, Лара. Ты добрая, а я нехороший.

И он выпил стакан портвейна.

Молчали.

— Теперь нам нового директора прислали, — угрюмо сказал Алексей Семенович. — Еврей.

— Ну и что? — спросил Петаторов.

— Ничего. Еврей.

.....

Пиво и Шептунов. Натюрморт: Шептунов с пивом. Полстакана пива — глоток холодного яблочного сока. Хватит. Встал-пошатнулся-пошел.

Домой, гоп-гоп. Только бы не ... центурион. Держись, Шептунов.

Помочь Филиппу.

Поехать к его жене, рассказать? Сколько они не виделись? Много лет, да-да. Забыли обоюдно.

А я всё читаю. И всё-всё читаю. И умный ты стал, Юлий Адамович.

Нужно поехать к Петаторову на квартиру. Сто рублей за полчаса!

Гоп-гоп!

Отпер комнату и упал на койку.

Поеду вечером; наверняка толкается у гастронома..  
пого

.....

...— Ну и что?! — закричал Филипп Аркадьевич.

— Ничего. Камню упасть негде — одни евреи.

— Ха! ха! Если б их не было, ты умер бы со скуки. Это же великолепная тема! Камень есть куда бросить, превосходство некоторое ощутить — вот и я что могу! Голову в действие привести свою можешь, — да не голову, а прессованное сено!

— Филипп! — предостерегла сестра.

— Ты их не знаешь! — кричал уже и Алексей Семенович. — Хитренько-хитренько — русских и оттесняют! Думают, — дураки! Мы, русские, дураки!

— По-моему, это давно установлено, — спокойно сказал Петаторов. Не приходится сомневаться.

Алексей Семенович дернулся.

— Вот, Ларочка, весь твой братец. А мне вот вчера рассказали, что они с нашими детьми делают! В идиотов превращают!

— Но?

— Как делать в школе прививки детям, так они своих не пускают, потому что лекарство отравлено специально, чтобы русские дураками росли! Тогда легче им пролезать будет!

— Алексей, тебя, наверное, евреи купали в этом лекарстве, — до такой степени ты...

— Филипп! — прервала сестра. Перестаньте, поговорите о чем-нибудь другом!

— А не о чем больше, правда, Алексей?

Молчали.

— So, you want to be a philologist, then I believe you must speak english rather well, dear nephew?

— Yes, unkle Philip,\* — отвечал племянник.

И они отделились от родителей непонятными словами. Алексей Семенович — шокированный — в душе загордился познаниями сына.

— Племянник, возможно, я не так скоро появлюсь у вас снова. Подумай над тем, что я тебе скажу. Политика заняла столько места в этой стране, что всё стало ей подвластно, — всё, что пишется словами, а не выражается в математических знаках. Математика неопасна для официальных лиц, наоборот, — она создает новое оружие и приборчики для подслушивания и подсматривания. А слова опасны, они могут кричать о добре и любви! Ты понимаешь меня, племянник?

— Yes!

---

\* — Так, ты хочешь стать филологом, тогда, я полагаю, ты должен довольно хорошо говорить по-английски, дорогой племянник?

— Да, дядя Филипп. — Р е д.

— To be or not to be... it sounds nonsense nowadays! I would say: To lie or not to lie, to crazy or to betray...\*

— Перестань портить ребенка, — сказал Алексей Семенович, ничего не поняв и погибая от почтения к доценту.

Молчали.

Сестра убирала со стола.

— Я тебе помогу, — сказал Петаторов и понес тарелки на кухню.

### *Глава четвертая*

#### *В РЕДАКЦИИ БОЛЬШОЙ ГАЗЕТЫ*

Бегут курьеры. Стучат машинки. Считывают корректоры. Бумага. Шрифт. Краска. Печатают. Грузят. Везут. Чьи-то руки кладут копейки и берут лист. Читают. Завертывают бутерброт. Стелят на грязную лавочку — сесть и поцеловаться. Несут в уборную.

Читайте. Выписывайте. Триста шестьдесят пять дней в году шуршат бумажные мыши и быстро-приятно трут лапками укромное местечко, — там, где должны располагаться мозги.

Василий Велзин — прогрессивный журналист. Он многое понимает, но не всегда пишет об этом в газете. О многом написал он на туалетной бумаге. Если бы колонки, написанные Василием Велзиным, вытянуть в одну линию, то можно бы двести раз.

.....

Петаторов смотрел на сестру. Постарела и устала.

---

\* — Да!

— Быть или не быть... В наше время это звучит бессмысленно! Я бы сказал: лгать или не лгать, сойти с ума или предавать... — Р е д.

Моет механически посуду. Сестричка! Он-то за что ее?!  
Ах, подлец!

— Ларочка!

— Да?

— Извини меня. Прости. Я больше к вам не приду. Я всех вас затерзал. Я болен, Ларочка. Я ничего не могу поделывать с собой. Я завидую людям: почему им хорошо или — сносно! Почему они не искромсаны, как я?! Прости меня, Ларочка!

Он истерично рвал пальто с вешалки.

— Филипп!

— Ах, Ларочка, все, все, все!

...Петаторов бежал по шоссе — мимо!

А ведь кто-то выбежал следом из подъезда!

Мимо!

Устать от беготни.

Боишься оглянуться, Филя?!

Трусит за тобой Ф. А. Петаторов, доцент!

— Филипп! — закричал отчаянно женский голос.

Так кричат «помогите».

Очнулся.

Огромный серый дом, — шуршит, шуршит в доме, словно доверху наполнен мышами.

Кто-то тут знакомый.

— Товарищ Велзин занят, — сказала секретарша, показав острые зубки. — У товарища Велзина (голос обратился в писк) Кирилл Пафнутьевич Саблезубов-Сорбоннов. Очень важная беседа. Зайдите через полчаса.

Петаторов, жалея, посмотрел на дверь в два человеческих роста, обитую мамонтовой кожей —

— Товарищ Велзин, в статье отредактировать только стиль. Завтра же в номер. До праздников всего две недели.

Велзин просматривал статью. Саблезубов через плечо Велзина перечитывал. Он еще горел творческим жаром и с болью расставался со своим детищем.

«Какая чушь, — думал Велзин, привычно расставляя недостающие запятые. — Мыто-перемыто — и снова».

«Когда, наконец, — думал Саблезубов, — мы **必须** со всеми этими. Они думают, что хотят! Развинтились! Нужно **活学** проводить в жизнь решения нашей **活用**. Когда все люди проникнутся **但在这, 上, 又不复杂** к империализму, **单位的情况尽管千** к гнилому искусству! Нет! Мы не потерпим, чтобы клеветали на **工作尽管复杂, 各**, на наше родное **心愿实现了**. Самокритика и **百花齐放, 百家争鸣** — вот наше оружие. Борясь за чистоту **都只有靠毛泽东** рядов, **文物无产阶级** пережитки, мы идем вперед к победе **大革命**.

Когда **总路线**, потому что **验的无产阶级的真理**, **是当代**发展到最高水平的马克思 **Мы, 人民的统一的精神**, **ОНИ** **毛泽东思想是革命的科学**, **是经过长期革命斗争考验全党全军全** **列宁主义**, **是现实的马克思列宁** **наголову** **纲领**. **我们反对帝国主义, 反对现代!!!»**

« **毛泽东思想一九六〇—六二年反修的总路线地攻击党攻击社会主义的四支大毒箭!!!»**

Велзин переправил «растки» на «ростки» и позвонил. — Мышка, — сказал он вошедшей секретарше, — возьми статью и в набор. Юмористический рассказ снять. Пойдет статья товарища Саблезубова-Сорбоннова.

Саблезубов надел шляпу и распрощался.

В дверях столкнулся с каким-то оборванцем, тот пропустил его. «Это еще что за птица! — подумал Саблезубов. — **代修正主义和各反!**»

— Здравствуй, Вася! — сказал Петаторов.

— Филя! Ты неожиданен, как выстрел!

Они обнялись и, рассаживаясь и посмеиваясь, закурили.

— Вася, ты бодр и весел! Как это тебе удается?

— А ты насмешлив, как всегда, но мрачен.

— Да, да. Я устал, Вася, и ищу работы.

— Филипп, ты ведь кандидат наук! Ты уволился из института?

— Давно. Я теперь никто.

— Без денег?

— Да. Летом работал, разгружал вагоны. А сейчас — всё равно...

— Филя, а Надя?

— Ушел.

— Что случилось?!

— Холуй умер, да здравствует сумасшедший! Я свободен как птица. Следовательно — я нищий. Это изумительно, Василий Велзин! Я читаю любимые книги и пью портвейн. Я плыву на льдине и кричу оставшимся: привет, крысы-мышки! Ха! Ха! В их числе — и ты. О, Господи! Брось марать туалетную бумагу, отдай ее людям — чистой! Идем вместе!

— А жить на что?

— Там видно будет.

— Нельзя так, Филипп. Я здесь на своем посту. Твои речи — апология бесполезности. Если я уйду, кто хоть чуточку поможет людям?

— Но?! Ты нашел людей?

— Да! Им плохо, они неустроены и несчастны.

— О, юный Диоген! Пусть они останутся такими, — они не лгут и заботятся только о хлебе. Или ты хочешь, чтобы они платили так же, как я плачú?

— Фу, — вздохнул Велзин. — Мы все хотим изменений и потихоньку двигаемся в сторону послаблений. Постепенно...

— Это — прописная чушь, милый Диоген. Бесстыдники нанимают себе в помощники еще более бесстыдных. У первых даже преимущество, — они слегка верят. Бесстыдство стало нашей традицией. Мы не верим ни в Бога, ни в Россию, ни в себя, мы гнием, Вася...

Вошла секретарша.

— Товарищ Велзин, распишитесь здесь: нам выдали две мышеловки и полпуда крысида.

Велзин черкнул.



— Мы, Диоген Велзин, не мечтаем больше о рае. Мы не мечтаем — найти человека. Мы не мечтаем больше вообще. Теперь страшно мечтать, ведь мечты осуществляются...

— Филипп, — сказал Велзин. — Надо работать, чтобы — жить.

— Не надо.

— Подрабатываешь, случайные деньги, я так не могу.

— Я иногда ворую бутылки! — смутился Петаторов.

— Вот видишь! — обрадовался Велзин.

— *Quod licet jovi, non licet bovi\**.

— А по-русски?

— Приблизительно: каждому — свое.

— В самом деле! Для каждого важно только свое. Ничто больше не связывает. Люди одиноки — бегут по улице — забиться в норку и сидеть одному. И пьют — как ты. В России много толковали о братстве; оказалось — нужна толпа, чтобы кричать тирану: тирань, голубчик! А теперь скушно. Мелкие прохвосты не умеют гипнотизировать. Они смешны, Филя, нужно всё спасать!

— Но мы смеемся вместе, а потом расходимся плакать в одиночку. У людей был Бог, и Его нашинковали на плахе, досталось каждому по кусочку: четвертушка уха, ноготок или ломтик сердца. Мы рассеяны, оставаясь вместе. Оттого-то ненавидят евреев: они разбросаны тысячи лет и — остались братьями. Страдание не убило сострадания.

— Что же делать?

— Уйти.

— И всё оставить прохвостам?

— Да! Тебя используют, чтобы создавать иллюзию понимания и доброжелательности. Лиши их себя!

---

\* Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. — Р е д.

Пусть выглянет красная бесстыдно-голая физиономия хама!

— Мне кажется, что острожники не равнодушны к тому, какой у них надзиратель. Им лучше, если он — добр.

— Отдай арестантам ключи! Пусть бегут!

— Ключей у меня нет...

— Ха! Ха! И ты, добрый, шепчешь слова утешения в замочную скважину! А они приговорены сидеть пожизненно. И когда они видят твой добрый глаз в глазке, — им лучше. Ты идешь по коридору — добрый-добрый — и хочешь выйти на лестницу, — она заперта, и видишь такой же добрый глаз, — это твой надзиратель, и он тоже арестант! Беги, Диоген Велзин. Пока мыши не отгрызли уши. Пока ты не подумал: Господи, а они ведь правы!

— Я должен оставаться.

— Что ж. Прощай, Вася.

— До свидания, беглый.

И Петаторов ушел.

Велзин вздохнул и долго смотрел в серое окно: грязь и холод, и скушно. Он отодвинул ящик стола и достал альбом с этикетками от спичечных коробков. Тень радости пробежала по усталому доброму лицу прогрессивного журналиста, когда он погладил этикетки: красные, фиолетовые, желтые, — будто осенние листья попадали прямо в альбом. Он посчастливил и забыл о Петаторове. Вот первые отечественные — дорогие, редкие. Вот эта — одна на всю Евразию, десятку предлагали — отказался. Этикеточки ему никогда не изменят, не то что друзья и женщины, они ему принадлежат — навсегда. Ему одному! Ласкать, гладить их можно. И этой — с комбайном — ни у кого нет, приятно. Переменится власть, а этикетки неизменны и вечны, как ... Бог.

Велзин забыл, что кончился рабочий день и мож-

## НИКТО

но идти домой, — нет, так хорошо здесь, сейчас только жизнь и начинается: этикетки трогать и к восторгу приготавливаться. все разошлись. он — и этикеточки...

Что-то щелкнуло-пискнуло в углу. Велзин вздрогнул и посмотрел туда.

Мышка в мышеловку попалась... Бедная...

Он оторвался от альбома и подошел к окну. Мышка уже остывала, прижатая грубой пружиной. Велзин освободил жертву и задумчиво погладил по плотной шёрстке.

— Эх тебя! Раз... два... три... четыре лапки... и хвостик.

Велзин выбросил мышь в форточку и вернулся к столу.

Тысячи тонкостей! Не всякому доступно. С брачком если — дороже ценится, смотри в оба. Велзин блуждал взглядом по стенам — и не было их уже...

Заглянула секретарша в кабинет и увидела Велзина над альбомом. Она вздохнула горько и стала собираться домой. Журналист будет сидеть до утра, переключившая и сортируя, и никакая сила не сможет его оторвать.

...В буфете на нижнем этаже Петаторов выпил пива. Купил колбасы для кошки.

В вестибюле его с писком обогнала мышь, за ней мчался огромный пушистый кот.

Домой!

Ага — кто-то забыл бутылку на окне. Непринужденным жестом положил в карман-мешок.

Я слабею.

Нужно ехать домой, — а хочется улечься.

Нужно пойти.

как он опустился

он сумасшедший

КАК ОН ОПУСТИЛСЯ  
ОЧЕНЬ ОПУСТИЛСЯ

Это обо мне, Филе Петаторове. Больно? Страшно?

Петаторов шел домой обходными путями. Он боялся освещенных улиц.

Там стоят толпы людей с серьезными лицами, — встречают меня, премьер-шута. И они кричат:

— Как он опустился!

— Сумасшедший!

А я — задворками, я заползу и запрусь.

Торопился, долго не мог запереть дверь.

Кошка прыгнула со стула и подбежала, мурлыкая.

— Киска, я тебе колбаски принес.

Кошка сделала большие глаза.

Петаторов вытряхнул содержимое кармана. Батюшки, кроме колбасы, — бутылка портвейна, частичек в томате, шесть варёных яиц, кусок сыра и тщательно завернутая копченая селедка, — о, аромат крепкой жизни!

Это всё сестричка успела положить...

Выпить — скорей!

— Филя, какая вкусная колбаса, по два девяносто!  
— пробормотала кошка с набитым ртом.

Я один. Я слаб, всё бесполезно. Я уже ничего не могу. Все разошлись.

Мелкими, Филя.

Ах, кто-нибудь! Выньте из меня эту боль, помогите! Разве я сделал кому-нибудь зло?! За что же грызть? Господи, помоги мне!

Надя! Где ты?!

Аааах! Я вам не пражский торт! Уберите ножи!..

И вино не помогает, ничто не помогает, ааах!

Руки Петаторова рвали подстилку, он весь напряжился.

И он увидел: в комнату бесшумно вошла Надя.

— Наденька! Помоги мне!

Она усмехнулась.

О, сколько гостей: Лара, Шептунов, Велзин, а этих не знаю — забыл.

— Филипп! — звонко сказала Надя. — Вставай! Будем веселиться!

Петаторов подошел к гостям.

— Как вы узнали, где я живу?

— Мы всё знаем! — хором сказали гости. — Давайте веселиться, давайте начнем хохотать!

— Становитесь в круг! — скомандовал Велзин и схватил Филиппа Аркадьевича за руку. И закружился хоровод! Вспыхнули факелы — светло-светло! Рассыпалось конфетти, взвился серпантин, гости приглушенно запели.

Мы пришли сюда не пить,  
А Филиппа веселить!  
Чтобы боль его унять,  
Станем дружно хохотать!  
Закричим веселым хором:  
Будь ты счастлив, Петатóров!

— Не Петатóров, а Петáторов!

Хочет счастья наш Филипп —  
Ведь душа давно болит,  
Так возрадуйся, Филипп,  
Мы невесту привели!  
Закричим веселым хором:  
Будь ты счастлив, Петатóров!

— Петáторов!

— Тогда в размер не уложишься, — сказали гости и захихикали. Гости плясали быстрее. Кто-то, закутанный в белое, вошел в круг. Теперь пели торжественным шёпотом:

Обратимся мы к невесте:  
С кем возлечь желаешь вместе?  
И кому обещан рай?  
Кого хочешь — выбирай!  
Каждый будет тебе рад,  
Больше всех — наш кандидат!

— Хочу Петаторова! — тонким голосом сказала фигура в белом.

Все исчезли. Петаторов сдернул закрывавшую лицо материю.

Перед ним стоял Шептунов.

— Ты, Юлий?!

— Ха-ха! — визгливо рассмеялся Шептунов и длинной рукой в перчатке сбросил маску. Гипс разбился, к ногам Петаторова подкатился нарисованный глаз.

— Надежда!!

Филипп Аркадьевич рассмеялся, счастливый. Он обнял ее и поцеловал. Губы — замороженные сливы.

— Хах-ха! — взвизгнула Надежда и провела рукой по затылку: маска упала. Петаторов замер — с улыбающимся ртом стояла перед ним Смерть.

— Неет!!

Он схватил ее за череп и искал бантик на затылке, царапал виски — стащить маску.

— Не надо, Филипп Аркадьевич. Это не маска, — сказала Смерть. — Я твоя, дорогой.

Петаторов уперся руками в ребра невесты и старался оторвать ее от себя, а Смерть наклонялась, отыскивая губы Фили...

— Маяяу!

## НИКТО

Петаторов сидел в углу и дрожал. Кошка помахивала хвостом и с нежностью смотрела на Филиппа Аркадьевича.

Где она?!

Ушла — надолго?

Нет, нет, я запрюсь и никуда не пойду. Мне нужно заснуть. Страшно здесь. Некуда спрятаться.

Трясаясь, Петаторов пил вино из горлышка. Дополз до подстилки.

Надо спать, Филя. Ты с ума сойдешь. Перестань думать, Филя.

Утомленный гостями, Петаторов задремывал...

Шептунов проснулся. За дверью шуршали.

— Та ты плохую-та не пери!..

Старушки опять картошку воруют. Что придумать бы?

Шептунов ударил кулаком в дверь и воскликнул громовым голосом:

— Слышу, старые ведьмы!

Раздался грохот ведра и глухой стук падающих клубней. По коридору бежали, — словно ветер шелестел в листве.

О!

Он встал, вытащил чемодан из-под кровати и достал череп. В глазницы вставил кусочки блестящей чайной обертки, зубы обернул ею же. Вышел в коридор, покидал рассыпанный картофель в коробку. Сверху положил череп зубами вниз и закрыл створки.

Улегся — и читал Иоанна Златоуста.

Надя плакала рядом с мужем.

Не люблю его, не люблю! Несчастье-то какое! Когда ушел Филипп, — горько стало и легче, а теперь тоска — не могу-у-у-у! Где он, милый мой, обезумевший мой! На что мне эта квартира, этот муж и эти деньги! Я одна — а Филиппа не-е-ет!..

Муж слова лишнего не скажет. Работает в закрытом учреждении. Слесарем, что ли? На ладонях — асфальт мозолей, иголкой не проткнешь.

Филиппок, милый мой, ну помоги же мне! Пришли открыточку, тебе-то не сладко, знаю, может быть, и погиб уже...

Муж всхрипнул и заворочался. Надя сдерживала себя, голова ее металась на подушке, — зарыдала, не вытерпев.

— Надя, что с тобой, дорогая, что случилось?

Утюг ладони мужа ездил по лицу.

— Ничего, Гриша, ничего. Нашло. Спи.

Григорий не спал.

В чем-то дело? (Он прикинул: не обидел ли как?) Вроде бы нет. Пришел с работы поздно — заседание затянулось. Очень важное, и работы страшно много, устал. И жена не улыбнулась даже, а ему было ни к чему. С детьми всё в порядке. Гм. Влюбилась в кого-нибудь? Или первого вспоминает?

Григорий Брандов ощутил неловкость и досаду.

Конечно, Петаторов образованный был, интересней с ним. Зачем за меня замуж вышла? Я простой человек, а вот о семье забочусь, чего филологу взбесившемуся и в голову не придет. Квартира, зарплата — что академик твой, ребята растут, старший от того, дурака... Чего еще надо? Ну да ничего... Правда, есть в нем петаторовское что-то. Приходит и спрашивает: отчего фамилия у нас тяжелая — Брандовы? Рассердился я, накричал...

А Надя плачет.



Замкнулся, говорит, от меня. А что делать, если работа такая? Да, я работаю аплодисментщиком! Пусть кого-то коробит такая работа! Я кормлю жену и детей! И я люблю свое дело, да! Когда на другой день после важного заседания я читаю напечатанные в газете жирным шрифтом: (*аплодисменты*), (*бурные аплодисменты*), (*продолжительные аплодисменты*), — я счастлив! Есть в этом частица и моего труда! Мой труд высоко ценится, значит, я нужен людям! Зарплата с каждым годом повышается, на наши трудовые аплодисментные руки растет спрос! По мере продвижения вперед мы занимаем всё больше мест в зале, — мы лучше других умеем хлопать. Уже сейчас управляю бригадой хлопарей, скоро — повышение; через год я кончу Высшую Аплодисментную Школу, без отрыва от производства. Тогда открыты все пути, даже... страшно подумать...

Брандов засыпал.

Надя плакала.

Петаторов кричал во сне, и кошка неотлучно дежурила в комнате, готовая в случае опасности предупредить: «Мяу!» Глаза — зеленые, как неоновый виноград в витрине.

Шептунов читал Иоанна Златоуста.

### Глава пятая

#### В ЗВЕРИНЦЕ

Петаторов затаился. Он не выходил недели две, отдыхая в беспросветной трезвости. Он лежал на подстилке, курил — и размышлял. Хозяйка ворчала на беззаботность Фили, — вместо поисков денег книги читает! Он же решался выйти лишь на двор за дровами. А на дворе стояла зима со снегом и метелями, иногда

— со слякотью. Сгорбившись, сидел Филипп Аркадьевич перед печкой и смотрел на синий огонь в глубине, в самом жару. Он помогал старухе варить суп, за это получал обед. Они ели втроем: хозяйка, Петаторов и кошка. После обеда Филя перебирался к печке, к нему подходила кошка, и они подолгу беседовали.

— Киска, ты меня любишь? — спросил однажды Петаторов.

Кошка стыдливо потупила глаза, розовый ее носик покраснел.

— Женщина никогда не ответит: не люблю, — прошептала она, — но ты мне очень нравишься. Правда, я люблю еще кота Ваську, мы с ним часто встречаемся. Увы! Мы не можем жить вместе, — разве согласится моя хозяйка пустить еще и кота! Я так несчастна, Филя! — Кошка всхлинула.

— Ну не плачь, киска, — сказал Петаторов, расстроженный. — Главное, — что вы любите друг друга!

— Да, конечно, но так хочется устроить семейную жизнь!..

Петаторов ушел в комнату и лег на матрац.

Снежок на улице... А мне здесь тепло. Ничего не хочу теперь.

...И понятно мне: иначе и не может быть. Трудно вытерпеть всё это, я не сумел. Я стал человеком и, кажется, обязан умереть. Пора! Какая разница — сам или другие помогут? Ах, Надежда! Мы могли бы сидеть в одной клетке и любоваться друг другом. Отчего разбежались в разные стороны? И теперь гибнем...

Ладно. Пусть будет — как будет.

...я просто боюсь медленно умирать — слишком медленно. Кто пугается Страшного суда под улюлюканье и свист архангелов? Бог решил, что скорая смерть легка, суд начался уже давно, и обвиняемые родились и живут на скамье подсудимых. Покамест они в заблуждении.

## НИКТО

Восстань, Филя!

Умел бы я ходить на руках, — было б всё по-другому...

Может, в Париж поехать?..

— Ха! Ха! Ха!

Да...

Петаторов пил чай — черный и горький. Жить становилось лучше и веселее.

Оп-па!

Пойду-ка я... искать... ра-бо-ту!..

На кладбище или в зоопарк — где попроще.

.....

В понедельник Брандов пришел на работу пораньше, чтобы застать начальника Аплодисментного отдела. Вахтер Гена, делая вид, что не узнает Брандова, долго разглядывал его пропуск. Григорий не возмущался, — таков порядок, работа секретная. В обширном дворе с шумом вращали лопастями вертолеты, суетились люди, помогая друг другу надеть парашютные сумки. Собиралась в путь десантная группа аплодисментчиков.

— Куда летите, Паша? — крикнул Брандов знакомому десятнику.

— В Саратов!

— Счастливо похлопать!

Брандов прошел по длинному коридору, заглянул в комнату отдыха. Дежурная бригада играла в домино. — Привет хлопарям! — крикнул Григорий. — Привет-привет! Чего нового? — По-прежнему. — Ну и слава Богу. — Брандов любил бывать на работе: к нему относились тепло и с уважением, говаривали за спиной: «Свой парень, настоящий хлопарь!» Мельком взглянул Брандов на родную стенгазету «За полновесный хлопок», в которой он сотрудничал и помещал

изошутки. И для этого номера он нарисовал шарж на Пендюлина, который на заседании прозевал сигнал бригадира и зааплодировал позже, чем было указано в сценарии. Пендюлин был изображен с огромными ушами и маленькими ручками. Надпись под рисунком гласила: «Нужно хлопать руками, а не ушами». Все смеялись, даже начальник отдела Тумбов расхохотался. На стенах висели диаграммы и плакаты, помогающие повышать аплодисментное мастерство: обрубленные кисти, хлопающие под таким-то углом с такой-то силой; неверные, ошибочные способы хлопанья перечеркнуты красным крестом. Брандов перечитал до боли знакомые лозунги: «Кто не хлопает — тот не ест», «Хлопать быстрее всех, лучше всех, веселее всех».

О! Результаты соревнования вывесили... ну-ка, ну-ка... «По количеству хлопочасов первое место заняла бригада С. В. Случившегося. Ей вручен переходящий вымпел...» Обогнали, черти!

«Молодцы мы! — с гордостью думал Брандов. — Рук не жалеем, здоровья! А ведь клеветать пытались: хлопали, де, хлопали, и первую бомбу в сорок первом никто не услышал! Очернители! Считали они бессонные ночи, проведенные над «Кратким курсом аплодисментного мастерства»?! А нас затирают, повышений давно не было... Довоенные хлопари в начальство выбились, а мы как сидели хлопарями, так и сидим. Где справедливость?»

К Брандову подошел его заместитель по плеванию на ладони Сима Минуэтов и зашептал:

— Пендюлин диссертацию защитил «О роли аплодисментных организаций в переходный период»! Кандидат аплодисментных наук, уходит преподавать в Высшую!

«Неприятность», — подумал Брандов.

— И еще, — говорил Минуэтов, — крикуны нос разбили Петьке Мольерову, бахвалятся, что всех нас отлупят!

Брандов побагровел. Как! Оскорбляют людей из его бригады! Наносят моральный ущерб! А впереди ответственная работа — несколько съездов, выборов. Никакого чувства локтя.

— Спасибо, Сима, идем-ка поговорим с ними!

Отдел глашатаев помещался этажом ниже. Крикуны (так дразнили глашатаев хлопари) презирали их и пакостили как только могли, должно быть, потому, что крикуны в прошлом были хлопарями, потом выбились в люди и относились теперь к отделу «По просьбе трудящихся». И зарплата у них была больше, и в связи с вредностью производства они получали бесплатно молоко. Несмотря на свою относительную немногочисленность, они задирали хлопарей и пели гнусную частушку:

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

Впрочем, хлопари не остались в долгу и, идя мимо ненавистного отдела, орали:

. . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .  
 . . . . .

В старое доброе время хлопари и глашатаи сходились во двор выяснять отношения — стенка на стенку, с кольями и булыжниками. Но начальство запретило дуэли, даже коллективные. Вражда ушла в подполье.

«В сущности, чем работа крикуна почетнее нашей? — говорил себе Брандов. — Ну, дежуришь под столом президиума, ну, в пыли сидишь, пока тебе резолюцию или список кандидатов не сунут, ну, ползешь к двери

в маскхалате под цвет эстрады, ну, дуешь по коридору — и в зал. И кричишь оттуда: я предлагаю, выдвигаю! Голосуют они так же, как наши; да, им еще нужно закричать под конец: да здравствует то-то и то-то! слава имярек! И первые они партгимн затягивают, отличный у них хор, этого не отнимешь. В самодеятельности всегда лучше всех поют».

Брандов без стука открыл дверь враждебного отдела и вошел в сопровождении Симы. Глашатаи спали на столах и лавках, а в соседней комнате репетировали «смех в зале».

Бригадир глашатаев поднялся навстречу.

— Что же это получается, товарищ Марфов? — сказал Брандов. — Впереди столько работы, а вы Мольерову нос разбиваете?

Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! — донеслось из-за стены.

— Я лично никакого носа не разбивал и впервые слышу о мольеровском носе, — с достоинством отвечал Марфов красивым звучным голосом.

— Мольеров мне доложил, что один из ваших...

— Дрочетов! — подсказал Минуэтов.

— ...Дрочетов, вот именно, разбил ему вчера нос в уборной.

Ох! Ох! Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи, хохохохохохо, ох, хааа — ха-ха!

— Я разберусь, — с наигранным участием сказал вражеский бригадир. — Если это так, я накажу виновного.

— Я прошу предупредить всех ваших... чтобы они прекратили сведение личных счетов! Впереди съезд!

Хахах, хихи! ха! ха! ха! хахах, ах, хи, хи, хохохохохо, хах!

— Ваня, погоди минутку, у нас наши друзья! — Марфов постучал в стенку. Хохот оборвался. — Дорогой Григорий Брандов, непременно, вы можете быть спокойны! Я велю Дрочетову выдать пострадавшему три рубля на лечение, — и ядовито усмехнулся.

Брандов покраснел.

— Мы в подачках не нуждаемся! До свидания.

Хлопари вышли, громко стукнув дверь.

— Сима, — сказал бригадир, — лети в отдел иними стенгазету; сегодня выпустим новую с поздравлениями Пендюлину. Молодчина! Уже кандидат наук!

Через минуту Брандов входил в кабинет Тумбова. Тот хлопнул в знак приветствия и уткнулся в листок, протянутый Брандовым.

«Докладная записка. Постановка дела не совсем у нас продумана. Отвечая на призывы руководства, я включился в борьбу за экономию государственных средств. Предлагаю для улучшения работы следующее: использовать обезьян как аплодисментчиков, но особенно — при одобрительных возгласах. Тем более важно подготовить смену старому составу, когда снова и снова встает вопрос о новых кадрах. Я уверен, что обезьяны с честью выполнят порученное им дело. Дрессировка и покупка свежей партии обезьян быстро окупятся благодаря сокращению штата глашатаев. Смету прилагаю».

Начальник заинтересовался и одобрил.

— Действуйте! — напутствовал он.

Брандова назначили руководителем экспериментальной группы и выдали документы на право работы с обезьянами.

— Надя, — сказал Брандов, вернувшись однажды с работы, — ты не хочешь завтра пойти в зоопарк? Давненько мы с тобой никуда не ходили! — улыбался бригадир, сжимая Надю в стальных объятьях.

У Нади запершило в горле. Муж приглашает! Второй раз за три года совместной жизни. Давно, — когда они познакомились, Григорий пригласил ее на торжественный вечер, посвященный чьей-то памяти. Надя пошла с радостью — отвлечься, а потом проклинала себя. Три часа с эстрады читали подшивки ста-

рых газет и для разнообразия выходила парочка мужичков, пиликала на малюсенькой гармошке и пела частушки про утильсырье, Надя устала, а Григорий оглушительно хлопал и веселился. И вдруг — в зоопарк...

— Пойду! — сказала она и улыбнулась.

— Завтра в 12.00, — сказал бригадир.

. . . . .

Петаторов пришел на Пресню около полудня. И так, устроиться бы здесь сторожем или смотрителем — как это спокойно. На свете, оказывается, есть звери, которые не занимаются политикой. Эти еще не протянули сюда своих вездесущих пальцев.

— Я в отдел кадров, — сказал Петаторов билетерше. Та с трудом разомкнула веки и поглядела на большие часы возле метро. Закрывает глаза, а Петаторов — за ограду. Сегодня потеплело, хлюпает под ногами грязь. Серо. Крякали утки, поднимался пар над незамерзшей частью пруда, шумели птицы за проволочной сеткой. Как здесь спокойно. Он сел на лавочку и достал фляжку. Выпил-закурил.

Если б можно спрятаться навсегда здесь, чтоб никто не знал и не видел. Отречься от всего прошлого и настоящего. Тихо и незаметно сторожить тигров. По вечерам читать Овидия и переноситься в древнюю солнечную страну, бродить в толпе афинян и римлян и пить вино. Затем — быть изгнанным и тосковать на берегу моря: не так как нынче, а возвышенно и гекзамером. Несомненно появится и прекрасная девушка, которую я полюблю и для которой буду добывать из прозрачных вод рыбу.

— Ах! — сказал Петаторов и пошел. Впереди — по кругу бегающий пони. Филипп Аркадьевич поторопился, пони стал, — его кормили.



Пони ни на кого не глядел — всё те же, не на кого и глянуть.

— Двадцать седьмой годок бегают. — сказала сторожиха. — Ну, ешь, непутевый!

Пони нехотя жевал и — не доел хлеб. Посадили в тележку хмурого прыщавого мальчика, и пони опять побежал, седой и спокойный.

Петаторов шел по глине, поскользнулся, — шел к обезьянам. Обезьянник расположился напротив антилопника, через лужу. В нос Филиппу Аркадьевичу заполз острый запах шерсти и тепло, а навстречу — громкий вопль обезьянного хора. За решетками прыгали и томились непризнанные чемпионы по гимнастике.

— Ва-во-ва-куааау!

«Здравствуйте, милые!» — подумал Петаторов. В угловой клетке сидела его давнишняя знакомая Манон. Она меланхолично перебирала куски пищи, — хлеб белый, яблоки — дольками, яйца вареные, — и равнодушно роняла их.

— Манон! — позвал служитель. Обезьяна посмотрела на него и бросилась вверх, обнажив кровавый мозольный зад.

«Публика ущербная, — думал Филипп Аркадьевич. — Экая вот женщина, лицо одутловатое, дебилка».

— Я тебе! Я тебе! — говорила шёпотом женщина, грозя пальчиком Манон. — Я тебе!

Рядом с Филиппом Аркадьевичем остановился мужчина в хорошем пальто, в отутюженных брюках.

— Эти не годятся, — бормотал он. — Мелки слишком, заметно будет... А кричат неплохо, торжество слышится. Нет, нет, шимпанзе нужны или орангутанги, — покрупнее, гримировать легче будет...

Петаторов прислушивался — удивленный.

— Но жопки, жопки хороши! Если б по ним хлопать! Пятерых бы одна заменила... — Мужчина захопал руками по ягодицам. — Замечательно!

Испуганные провинциалы отдыхали возле вольеров после грандиозных видений столицы. Обезьяны выглядели по-родному, как пьяный возле пивной в Пензе. — Лежишь? — говорили они макаке. — Ну, лежи, хе-хе! Кормят да поят — чего еще, ха-ха.

— Поработать с ними придется, — разговаривал сам с собой хорошо одетый посетитель. — Не подкованы идеологически. Подкуем, не таких подковывали. Ах, задницы хороши! Неэтично, жаль — вдруг делегат вскакивает и по заднице хлопать начинает. Чтó подумают дорогие иностранные гости. Нельзя. Наберу шимпанзе и орангутангов. Одену их в костюмчики, рефлекс по Павлову — зайду проконсультироваться — выработаем, и валяй во имя светлого будущего. В старшие хлопари произведут тебя, Брандов! Ай да молодец.

Петаторов выбрался от обезьян и увидел: ХИЩНИКИ.

Вот-вот, нужное.

Хищники лежали, одна гиена бегала по клетке.

Несправедливостью возмущена... Другие, мол, на свободе, дело делают, а ты — без суда-следствия в тюрьме.

И вдруг страшно замяукала пума, ей нутряным ревом отвечал лев.

Тишина. Моча журчит в желобе вдоль клеток, словно весенний ручей.

Наад ручьём мечта-атель ю-уный

Рвал цветы-ы и плёол ве-ено-ок...

тьфу, вспомнил.

В конце помещения сидел сторож и полуспал над газетой.

— Кис-кис! — сказал Петаторов оцелоту — красивой дикой кошке. Оцелот залез на сухой обрубок дерева в клетке и потерялся мордочкой о сучок.

«Неразговорчивый!» — подумал кандидат и снова позвал: — Кис-кис.

— Дразнить-то — не дразни, — сказал сторож.

— Да я так, поговорить с ним хотел.

Сторож зевнул.

— Все вы так начинаете, а потом что-нибудь да сделаете.

— Я ничего не сделаю, — сказал Петаторов.

— Знаю! Возьмешь и сделаешь, а отвечать мне.

— Ей-Богу, ничего не сделаю, — уверял Петаторов.

— Как же! Лет десять назад такой же приходил, изучал, а потом... Выпить нет у тебя?

Петаторов вытащил флягу и подал сторожу. Старик глотнул, сплюнул и с дружелюбием пригласил Филиппа Аркадьевича сесть рядом на скамеечку.

### *легенда о черной пантере*

Десять лет назад жила у нас в вольере рядом с сервалом черная пантера; мы все ее Шурой звали. Красивая была — с черной шерстью, блестела вся шкурой, ну да это у всех черных пантер так, а у нее белая полоска кругом шеи отличительная шла, как будто след петли. Тихая была, да только однажды сгнила дощечка в перегородке, и сервал — муж нынешней сервалихи — лапу к пантере сунул. А она откусила ему лапу и съела. Сервал болел долго, сдох от заражения крови. Вишь, сервалиха как мечется! Да... А пантера, оказывается, только вид показывала, что тихая. Попенял я тогда ей, да что уж тут сделаешь. Пантера-то целыми днями лежала, ох, и черна была! Подойдешь, она морду к тебе повернет, а глаз всё равно не разобрать —

блестит вся. Отвернется — словно тебя и нет. Но понимала, в каком она положении. Клетку, к примеру, мыть надо — откроешь дверку в соседнюю пустую, так сама перейдет, скажешь только: Шура! Аппетитом не славилась, этого не скажу. Полноги бросишь ей — не шелохнется, а вот ночью услышишь: хрุษь, хрุษь. Жрёт, значит. Днем лежит спиной ко всей публике и вздыхает иногда. Скажешь ей: Шура! — ударит хвостом по полу и всё: чего, мол, надо? И вот тогда повадился к нам человек, лет под пятьдесят ему было. Придет и рассматривает зверушек моих. Как увидел пантеру — прирастался, часа четыре сидит на барьере, не отходит. И что ты думаешь — замечать его стала. Сидят и смотрят друг на друга, как бы влюбившись. Я однажды подхожу и спрашиваю: кто вы будете? А он говорит: ученый орнитолог, и бумагу мне сует. Ладно, говорю, смотрите, изучайте, только поосторожней с пантерой: тиха да люта. Вам-то, наверное, виднее, повадки этого зверья знаете. Успокоился, а они так ползимы и просидели: пантера на него из клетки смотрит, а он снаружи сидит на барьере и говорит ей что-то. Услышал однажды, шепчет он: — Ты — птица вольная... не хищница, нет, птица поднебесная! Не тоскуй. Жизнь так и поворачивается: подрос детеныш — в клетку полезай! — Пантера слушает внимательно, и вроде морда подобрела, лежит, глаз с орнитолога не сводит. Долго разговаривают иной раз, пантера будто возражает: хрипит что-то. Орнитолога-то Яшкой звали. Привык я к нему, помогал он мне клетки чистить, корм разносить. И суп варили из мяса тигриного — не из них, конечно, а вот из ста килограммов суточной нормы убавишь кило — незаметно. Сидим и едим, неразговорчивый был Яшка, с одной Шурой беседовал. В ту зиму народа мало приходило, мы с ним сидим, да, и зверьки наши. Полагался я на него, думал, пристрастие к науке питает на совесть. И спать себе позволял. Однажды ночью заснул, хоть и не по уставу это. Про-

сыпаюсь утром дежурство сдавать — нету Яшки. Туда-сюда, домой ушел, что ли? Подхожу к Шуре, а орнитолог в клетке у нее! Затрепетал я — конец Яшке! Сидит в клетке, он ее по морде гладит, а Шура мурлычит и к нему ластится. Вылезай, говорю, Яшка, пока цел! — Не хочу! — отвечает. Открыл я проход в соседний вольер — пантеру перегнать, — не идет! Я ее крюком — зубами в железо вцепилась, вырвала! И рычать! Такого рыку отроду от подневольного зверья не слышал! Яшка, кричу, с ума не сходи! Вылезай! Не то команду позову — вытащат силком, скандала не оберешься! А Шура стоит у прутьев и рычит на меня страшным голосом. — Не убивайся, Ваня, — орнитолог говорит, — я великое мировое открытие сделал: не пантера вовсе ваша Шура, а птица! Новой породы, до сих пор не открытой. — Я послушал его и команду вызвал. Пришли мужики, стали баграми Шуру отгонять, — орнитолог не дает, на острие железное бросается. Водой льем — оба они вместе под струю идут. И звери гвалт устроили — ревут, бесятся! — Ну и чёрт с ними! — сказала команда. — Директор придет — разберется. — Утром Михалыч прибежал бледный, мне выговор сделал — и к Шуре. Шура-то лежит, а орнитолог сидит перед ней, слезами обливается и гладит ее по морде. «Птичка ты невиданная, радость моя, как выберемся отсюда — умчимся в дальние страны...» Директор и так орнитолога, и сак, — не выходит Яшка. Я, говорит, нашел свое счастье и призвание, это, говорит, мое место в жизни. Решили застрелить пантеру. Пришел знаменитый стрелок со снайперской винтовкой, примостился, да что тут стрелять — и пяти метров клетка в длину не будет. Тут Яшка ножичек вынимает и спокойно говорит: если вы, говорит, совершите это преступление, так я в тот же миг ножик себе в сердце вонзю. Опять не получилось, и мясо боимся перестать Шуре давать, вдруг с голоду орнитолога сожрет. Маялись дней пять и придумали: яду в рацион на-

ложили. Околела. Плакал этот Яшка, плакал! Залезла команда в клетку, тащим его, а он за лапы Шурины ухватился, не отдерем никак. Вместе с трупом и вытащили. Пришлось пантере лапы отрубить — не ломать же руки. Звери с ума посходили, пума охрипла, одними глазами светит. Да... Посадили Яшку в машину. С лапами так и не расстался, гладит ими по лицу и плачет. Увезли его куда следует. Да... Видишь, бывает всякое, не сердись, что покричал.

Еще по глоточку. Петаторов быстро ушел. Горько было ему, и усомнился: а выпустят ли его? Отовсюду видна была высокая ограда зверинца, и Филиппу Аркадьевичу показалось, будто он в огромном вольере.

Бежать отсюда. Ах, гуси-лебеди! Плаваете? Откормили вас, лебеди. Не шея у вас — нога в пуховом чулке. И лебединую песнь, должно быть, забыли: покушали-отдохнули-покушали. И простору не нужно. Ситничек едите, летать тяжело больно. Плещется, ныряет — накормленный и белоснежный. Песни лебединые просто неуместны, их оценят как невоспитанность, за клеветническую песнь примут. Хорошо, соус разлитый по скатерти можно и не заметить —

Петаторов посмотрел вбок — лебедь плыл вдоль берега — и увидел женщину. Она стояла шагах в двадцати, опираясь о холодную чугунную решетку. Филя увидел полузабытое черное пальто и черные сапожки.

Я должен... неужели это Надя? Нет... у нее не было этого шарфа ... уйти незамеченным. Потихоньку.

Не отдавая себе отчета, Петаторов крался в сторону женщины.

Если она не обернется... нет.. это не Надя... тихо, Филя. Не хлюпай башмаками, кандидат.

...Подлинно нельзя понять, какъ враги и оскорбители Божіи наслаждаются и сіяніемъ солнца, и дождями, и всѣми другими благодѣяніями Божіими. Наслаждаются тѣ люди, которые послѣ духовной трапезы, послѣ толикихъ благодѣяній, послѣ слышанія безчисленныхъ наставленій, своею жестокостію превосходятъ звѣрей, встаютъ другъ на друга, и оскверняютъ языкъ свой, угрызая ближнихъ. Итакъ, помышляя сіе, выбросимъ изъ сердець ядъ, разрушимъ вражду, станемъ возносить...

Шептунов отложилъ Иоанна Златоуста и всталъ у двери. В коридоре знакомо шепелявили. Зашуршалъ картонъ ящика.

— Тише, онъ мошетъ ушльпшать!

— Сеня, кнупная какая! Капуста, навенное.

— Пошмотри.

— Филипп!

Петаторовъ повернулъ голову.

Блеснули глаза и ротъ.

— Ааааа! — заревела старушка и уронила черепъ.

— Ай! — Петаторовъ закрылъ лицо руками.

— Ты, Филиппок!

По коридору промчалась рота красноармейцевъ. Шептуновъ удовлетворенно почесался и легъ.

— Надежда!

Петаторовъ дрожалъ. Онъ смотрелъ на лицо женщины, на блестящее меховое пальто, — и дрожалъ.

Надя шагнула — ее глаза совсемъ близко. Господи.

— Филиппок! — сказала Надя. — Неужели мы встретились?!

— Да, — сказалъ Петаторовъ. — Мы встретились.

— Зачемъ мы расставались, Филипп?

— Не знаю.

— Скажи что-нибудь, Филипп!

— Да. Я должен что-нибудь сказать.

— О, эти годы! Я погибаю без тебя, Филипп! Я не люблю мужа, детей, потому что нет тебя! Я искала тебя и не могла найти!

— Даже милиция не может, — пробормотал Петаторов.

— Ты опустошил меня, Филипок! Я жила, пришел ты, потом ушел, теперь нельзя по-прежнему!

— Наденька! Давай уйдем отсюда?

Они медленно шли к выходу, а потом брели по слякотной улице и замерзали. Им попался цветочный магазин, они грелись в окружении кактусов и орхидей.

— И теперь, Филенька, ничего не изменить. Возьми меня с собой, мы будем вместе, я всё брошу, ах, всё! Я брошу ничто, я тебе нужна, неужели не вижу. Ты погибнешь без меня.

— Да. Только ты ласкова ко мне. Какие шершавые жернова крутятся внутри и перемалывают меня, ты прикоснулась к ним и остановила одним пальчиком. Поздно!.. Я теперь никто, Наденька. Я не работаю, мне негде жить-есть.

— Я знаю. И все-таки — мы умрем по отдельности. Вместе же — безумец ты этакий! — мы выживем назло всему, назло этим людям, назло всем! Ах, Филя, согласишься, согласишься же! Кому и что докажет наша смерть?

— Товарищи, здесь не место выяснять отношения, — сказала продавщица.

И они снова шли по жидкому снегу, и сидели в кафе: говорили-говорили.

— Наденька, ты хочешь быть соломинкой, за которую я уцепился бы. Я вот сейчас счастлив, ты не можешь представить моего счастья! Петаторов нужен! Это настолько нелепо, что я счастлив. У меня один удел —



— Нет! — закричала Надя, даже официанты обернулись. — Наш удел выжить и победить! Поверь мне, Филипок! Я буду с тобой, мы перенесем всё, неужели столетия продлится кошмар, нет-нет, люди сообразят, ты не один! Ты не один! Кликни и придут люди, взбунтуются!

— Бунтовать?! — напряженно сказал Петаторов. — А потом — что! Нас сломают, а если мы ломаем, — потом что?! Я хитрый стал.

— У нас сын растет... — сказала Надя.

Петаторов смутился.

— Ну и как... он?

— Весь в тебя. Книги читает, молчаливый. Иной раз не ожидает, помотришь на него и скажешь: Андрей! — вздрогнет: Да, мама? — Рассказала ему о тебе — всё, сказал, поморщившись: декадент!

Петаторова ударила обида.

— Да, да, Наденька, я...

— Филипок, ну же, Филипп!

— ...опустился, Надежда.

— Прости меня, милый, идем скорей домой, Филипок!

Сырой снег облепил лицо, ресницы отяжелели, они прятались в подъезде, и Филипп услышал ее губы, перебирал волосы и брел губами по лицу — путник, умирающий в пустыне от жажды и жуткого костного холода.

— Надежда, слышишь — бьют барабаны... нет, колокола, мы расстаемся, Надя, вот сейчас мы расстаемся, меня надо увести, а не придти ко мне, Наденька! Я сидел на пляже и брал горстями песок — он тек между пальцами и исчезал, я болен, Надя, прости!

— Филипп, мы заберем твоего сына и уйдем! Мы нищие, но разве это страшно!

Петаторов провожал Надю, они целовались в подворотне, он остолбенел: бродяга, увидевший под кучей грязной ветоши — нежные любящие губы. Обветрен-

ное лицо его гладили ласковые пальцы, он упал губами на ладони и качался, как пароход, он видел любовь — и не заметил, что заходит солнце. Пальцы бежали по губам, взошли по щекам и перешли вброд глаза. Ресницы его махали, словно вёсла каторжников на галере, они выгребали из бури, но волна настигла и захлестнула их, — Надя почувствовала: Петаторов плакал. И ужаснулась: неужели он, Филипп, плачет?!

— Филя, что с тобой!

— Прощай, Надежда, не я тебе нужен, я тону сам! Прощай! береги... сыночка, а?

— Да, да... да-да...

— Наденька? Слышишь, Наденька, — бьют в колокола... Мы расстаемся, я знаю. Ведь кем это придумано, Надежда, кем?! Я обрушился, я осколок от храма, не целуй его, аах! Что толку стегать плетью сфинкса, что толку, Надежда! Он поднимет мертвую голову — и уронит на лапы! Наденька!

Кандидат забылся и целовал плачущие глаза Нади, — она подалась навстречу, он нес ее по ступенькам лестницы — куда?! Они бежали, и рука его не мерзла в теплых сгибах под коленями, — мимо домов и подворотен.

Снег, лепит снег, и уносит, и бежит Филипп Аркадьевич с Надеждой на руках, веется вихрь, а рядом лицо ее — спит Надя, не запоминает дорогу бегства, летит как на крыльях — в руках петаторовских летит, а снег лепит, и лицо Нади засыпает, и не тает уже!

— Надежда! Надя-ааа!

— Что, милый? — шевельнулась Надежда, и две руки — лозы виноградные — вились по холодной шее, и слышал Петаторов их тепло.

— Ты устал, милый? Опустим меня...

Они бежали, вихрь догонял их, и метель металась вокруг, и снег змеями из-за угла цеплялся за ноги, свистела пурга и шуршала, — эй, Надя! Что же ты? Ждет тебя Брандов, законный твой... аааа...

Надя провалилась в сугроб, они смеялись, и Петаторов с удивлением услышал свой счастливый смех — тоскливо-лающий, а Надя смеялась — словно плакал звеня колокольчик посреди снежного поля. Она держалась за плечо Филиппа и вытряхивала снег из сапожка, а он смотрел на знакомую горбинку возле большого пальца, — пылила метель, обвилась вокруг ступни, наметая сугробами горе вдоль улиц, и пелена его закрыла окна, и фонари, и глаза, забросала метель снегом счастье, и ослеп Филипп Аркадьевич...

Он шел теперь машинально, и ему не нужно ничего было, заснуть бы только на сухой и теплой подстилке. Одеревенел Филипп, и страшно было Надежде, — словно сумасшедшая Магдалина целовала она деревянного Иисуса, снятого с креста в церкви.

— Нет-нет, нет-нет, — говорила она, опустив руки. — Филипп! Это не ты! Оживи, милый мой!

Кандидат стоял, занавесь из игольчатых льдинок повисла между ними, меркло его лицо, а Надежда исчезала в беснующейся буре.

Тогда Петаторов раскинул руки, и закачался в пурге белый крест.

Полна ли чаша?! Но не обнесут меня ею, я один во всем мире, не ошибутся, мне предназначено ее испить... Как это ты делал, Сократ? Тебе хоть тепло было в Греции солнечной-та...

Петаторов крестом упал на снег, холодный пух поднялся облачком и накрыл его.

— ...ииилиии! ... иииилиии!.. — кричал кто-то с того конца света, а снежные руки влекли его в ледяную яму — занести, заморозить!

«Вот и смерть пьяная приходит, — думал доцент. — Восстань, Филя».

— Зааачееем... — пела вьюга, — тебее хорооошооо...

— Без меня кошка с голоду сдохнет, — возразил Петаторов и заворчался, пласт снега упал со спины.

— Кошка-то подойдет, — бормотал он и поднимался, скользя руками по фонарному столбу. — Не устроена она, кошка-то...

От фонаря — к фонарю, от дома — к дому брел Петаторов в Сокольники.

## *Глава шестая*

### РОЖДЕСТВО

Петаторов проспал больше суток без тревожащих сновидений. Мозг его отдыхал, запрягивая в глубину души — горести, раны зарубцовывались, — словно ледок, появившийся за ночь в полных водой бычьих следах.

Кошка мяукала и, ухватив зубками воротник пальто, стащила его с головы Петаторова. Филипп Аркадьевич чихнул, потер лицо и проговорил:

— Отстань! Дай поспать-то!

— Сколько можно спать? — возмущенно спросила кошка.

Петаторов просыпался. И чувствовал необыкновенное счастье и покой. Он еще не открыл глаз, радость бурлила в нем и вокруг, — после долгого спасительного отдыха. Он протянул руку — найти сигарету, кошка обхватила ее лапками, потерлась мордочкой и замурылкала.

— Киска! — сказал Петаторов, посчастливив еще более, — в душе расцвела японская живопись — безмятежная и прекрасная. Он открыл глаза: струйка папиросного дыма повисла в воздухе, будто над вулканическом Фудзи.

Если б не испортить счастье, — осторожно так жить, росточек не затоптать, пусть окрепнет, а потом расти будем, я уж его сбере...

## НИКТО

— Филя! Когда деньги отдашь за квартиру? — спросила хозяйка через дверь.

— Скоро!

... гу! Господи, счастлив сейчас вот. Не нарушить бы, не погубить. Буду много спать и читать, потихонечку возродиться бы, бодрости и силы бы, Надю заберу с Андреем, прокормимся. Только не надо бы нечистоты бы, нельзя поддаваться любви к комфорту. Я — заслуженный нищий республики. «Постепенно движемся...» Да мы постепенно засаливаемся, почтенный Диоген. Кричат, глядя в темноту: Иаков борется с ангелом. Точно ли, что Иаков? «Иаков берет верх!» — зазевались зрители, раздолье жуликам. Дохнут судачки в отравленной речке, — все плачут и борются. Людей топчут, — вопят радостно: так их! Нельзя, милые, это делать. Что толку рассуждать о естественности исторического процесса? Или ваша боль неестественна?!

Вон куда электрификация завела — сосны и медведи кругом...

Петаторов устал. Исчезло видение Фудзи и седого мудрого японского водопада. Филипп вскочил, слегка размялся. Остатки мускулов работали, бросая тело по комнате.

— Хорошо! — сказал Петаторов, утомившись гимнастикой. Он согрел чаю, размочил сухарей — и ел.

Кажется, не сосет больше под ложечкой. На улицу, на улицу — найти работу, забрать Надю. Не только пороха, — пороховницы у меня никогда не было. Есть желание быть счастливым, — не быть рабом и не быть одиноким... Это — да. На работу, где попроще, на кладбище. Вряд ли Наденька согласится жить здесь, я сам того не хочу, у нас будет светлая чистая комната.

Хозяйка ушла. Петаторов быстро съел кусок обваренной соленой трески.

Холодно сегодня. Декабрь и мороз, а у меня день рождения, нечего выпить...

Филипп Аркадьевич ушел, он торопился, а мороз считал косточки, словно бухгалтер. Валил пар из дверей метро, выбегали краснощекие девушки и юноши с лыжами, — покататься, отдохнуть, вечером в постельке попрыгать, потискаться, поурчать. Ночью — урчим, днем — воспеваем.

Он брел по переулкам, тысячи раз хоженным, изда- лека заметил церковку. Кладбище тянулось вдоль же- лезной дороги; наверное, в насмешку над обитателями его. Вокзал кишел чемоданами и ёлками.

Около забора лежал нетронутый снег. Петаторов миновал ворота и — спокойный — гулял по дорожкам, а кругом стояли кресты и надгробия. Многих сотрудни- ков кладбища он знал, они к нему хорошо относились; впрочем, невозможно тут ссориться и сердиться: слиш- ком тихо, слишком недалеко тот сонный мужчина, ко- торый приходит утром после маскарада и убирает раз- битую посуду, подметает веселые ленточки серпантина и окурки, чинит испорченный местами паркет.

Снег лежал на деревьях, на крестах и в глубоких врезках букв. Над одной могилой высилась черная пли- та, а наверху сидел нахохлившийся ангел.

«Холодно ему, — думал Петаторов. — «Папу- син П. Х.» Редкая фамилия».

Он шел дальше и видел незатейливые могилки с неуверенно-торопливыми надписями от руки, будто ру- гательства на стене школьной уборной. «Господи! При- мите его прах с миром». Зачем Господу прах-то? Без- грамотность. А вот лучше — «прими его дух». Вот, сов- сем неприметная могила. Петаторов отломил веточку и смёл снег с плиты. «Либертова Е. Ф. Трагически погиб- ла в...» Слой гранита откололся, и Петаторов не выяс- нил, когда же трагически погибла Е. Ф. Либертова. На- верно, родные ее умерли все, никто не ухаживает за могилой. Ей-то всё равно.

Рядом с Либертовой странный склеп — маленький застекленный домик, будто принесенный из дворика детского сада; снаружи аккуратно обтянут проволочной сеткой. Петаторов заглянул внутрь: скамеечка, пол выложен кафельной плиткой, как в ванной, а вместо ванны — почему-то крест.

Хорошо здесь жить, — лишь бы печку завести, спокойно здесь. Да и лежать неплохо, я согласился бы здесь лежать, не дует и снега нет.

Он шел по тропинке, могил было множество: кресты, холмики, занесенные метелью плиты, с оградами и без оград, обтянутые со всех сторон и поверх решетками — огромные беличьи клетки.

Сколько фамилий, имен и отчеств. И все мертвы, всем выпало вмерзнуть в землю. Чего же мы суедемся на поверхности? Ан нет, протестуем, боимся, жить намереваемся...

— Как тебя зовут? — спросили за спиной.

Петаторов вздрогнул и обернулся. Кряжистый старик в потрепанном полушубке, из шапки лезет вата, борода, из-под кустиков бровей смотрят веселые ушкуничьи глаза. Без рукавиц, под мышкой книга.

— А тебе зачем?

— К любому подойдешь здесь и прочитаешь, кто и когда. У тебя же спрашивать приходится, на лбу не написано.

— Филиппом Аркадьевичем.

— Буду звать просто Филиппом, в сыновья мне годишься. Идём.

Они спустились под горку, к южному забору, за которым начиналась городская свалка.

— Вот, — сказал старик, указывая на обелиск, сложенный из мраморных брусков; полустерся белый овал с портретом молодого мужчины с бородкой. Краска в местах соединения брусочков облупилась, и спокойное красивое лицо очутилось за решеткой.

— Смерть открыла тайну жизни, хотя, может быть, случайно: у родственников нашлись деньги нанять живописца. А теперь почти вот это, я сегодня много размышлял.

Петаторов взял бумагу.

«Люди от самого рожденья и потом заключены в рамку. Детская кроватка (колыбель) — рамка, предвещает им о судьбе. Они живут в рамке дома, школы, семьи, рамка сопутствует им везде. Если они творят, так в рамке общепринятых намерений, иначе их не поймут и не дадут денег. Они старятся и умирают в рамке, — их кладут в гроб и жизнь их заканчивается черной рамкой в газете. Есть люди, свободные от этой рамки, — цыгане и горцы».

— И тогда мы приходим к Богу, ибо Он беспределен; почувствуй Его, Филипп. Ты беспомощен, потому что люди мстят тебе, услышав твои слова. Бог еще более беспомощен, Он взывает к тебе, но ты глух. Ты был хоть однажды счастлив?

— Да, — тихо сказал Петаторов. — Я проснулся — давным-давно, весной, рассветало, — и увидел рядом лицо любимой женщины.

— Если б ты мог превратить всю жизнь в такое утро, но ты знал, что это невозможно, — и мысль отравила тебя! Истина есть счастье, счастье есть любовь, так избери прочнейшую из любвей — любовь к Богу. Впрочем, Бог — неточное слово для обозначения Самого Себя... Любовь поселится в тебе и — будет жить в тебе.

— Я не могу поверить даже в Бога, я пытался, старик, но ничего не вышло...

— Ты мало размышлял. Ты хотел найти некоего брата, друга, найти сильное и независимое существо, которому сказал бы: Ты, Господи! Его нет. Филипп, возлюби ничто! Ты хотел соотнести себя с бездной, найти в ней любящее Ты. И заблудился! потому что воображал, будто ты вне ее, будто она стоит перед тобой, —



## НИКТО

ты в ней, Филипп! Возлюби ее — она кругом, единственно неизменная, она приняла тебя и не гнушается тобой; это и есть Бог.

— Зачем же бездна выделила из себя человека?

— Она извергла и моря, и звезды, — наравне с клеточками твоего тела, она выделила всё — значит, выделила ничто. Всё осталось в ней...

— А дух, что нас мучает?

— Уверен ли ты, что камень, дерево, солнце — не мучаются или мучаются меньше тебя? Ты ошибся, Филипп. Смотрел ли ты когда на звездное небо? Вспомни, как тебе делалось страшно, а затем покой наполнял тебя и укачивал, ты чувствовал ласку бездны, она звала тебя и требовала одного: признать ее!

— Старик, ты не знаешь ответа или недоговариваешь...

— Полюби бездну, Филипп. Она доверчива, как ребенок, ты обманывал ее десятки раз, и все же — ты придешь к ней, и она не упрекнет тебя за долгое бегство, она примет Филиппа, — так же, как и всех нас, она с радостью выслушает признание в любви. Ведь ты давно принадлежишь ей, еще когда и не родился твой прадед. Ты говоришь, что несчастлив? Возлюби бездну! Ступай.

Нехорошее чувство владело Филиппом Аркадьевичем, когда он медленно пробирался между могил к церкви. Он подошел к боковой двери и открыл, спустился вниз по узкой лестнице в маленькую продолговатую комнатку. Неярко горела лампочка, на нарах, завернувшись в тряпье, храпел могильщик.

— Грыжа! — сказал Петаторов, и тень улыбки легла на его лицо.

— А? — сказал могильщик, продолжая спать.

— Караул! Крематорий строят!

— Не имеее права!!

Грыжа вскочил — кудлатый, лицо стекало к носу, и он висел огромной каплей красного вина.

— А, Филя!.. Здравствуй, дорогой. Наши гости — скрипучие кости, хе-хе. Каким ветром? — Они сели за стол, вместо скамеек — на детский гробик. Огурчики солененькие, картошечка, хлебец свежий и водочка, — Петаторов засмеялся, увидев такое изобилие. Они выпили, тепло расплзлось по худому телу Филиппа.

— Давно не приходил, Филя, — сказал могильщик.

— Дела были. Грыжа, нет ли у вас тут какой работы?

— Покамест нету. Весной заходи, будет — мусор на участках убирать, нам поможешь. Зима, не каждый монет наскребет в декабре хорониться. Мало привозят.

— Жаль, — сказал Петаторов.

— Ничего. Денег нет, поди? На́ рупь. Или вот, Филя. — Могильщик указал на белый от старости череп, лежащий на полу у вороха лопат. — Позавчера копали и нашли. Загнал бы Йорика? Рупчиков пятнадцать дадут, верно.

Они выпили и молчали. Тепло в могильщицкой.

— А где компаньоны твои?

— Парторг наш заболел, ушли навещать в больницу. Другие — в клубе, в оркестре играют.

— Грыжа, ты никогда не замечал старика с бородой?

— Где лежит?

— Живой он, сегодня на третьем участке говорил мне.

— Не помню... а, да-да, с косичками? Встречал. О бездне толкует и матом могильщиков поливает. У него здесь сын, полковник Кретов лежит. Видел: остановится и на обелиск шипит: отстрелялся, паршивец! Думал всех к ногтю, да где развернуться — тесна бездна! Сдох. А вы, копатели, говорит, трупы деревом и камнем одеваете, ателье устроили, дармоеды, чтобы бездну от взора прикрыть! Я смеюсь и говорю: отец, чем ногами-то топотать, лучше б рыть помог, стопку налью. Разорется, расплывается; лопату давай, говорит, мошен-

## НИКТО

ник, и — прыг в яму. Выпьет-закусит, — снова о бездне проповедует, пока не заснет...

Да. Так что весной приходи, Филя, устрою. А, вот: в похоронном управлении кружки иностранного языка и рукоделия организуют, это ведь по твоей части?

— Зачем иностранный язык?

— Начальству виднее.

— Преподавать я не хочу.

— Может, поспишь, Филя?

— Я лучше пойду.

— Заходи весной, хорошо у нас: птички поют, солнышко светит...

Грыжа лег на нары и укутался в тряпье.

Петаторов ушел и пропал в городе. Он размышлял о старике и бездне и не мог помириться со своей ничемностью на этом свете. Он бродил по холодным улицам, забираясь ночевать на верхние этажи огромных новых домов; закутывался в пальто и, прижавшись к теплому боку батареи, лежал. Если заснуть не получалось, Филипп Аркадьевич брел на вокзал, там было не так одиноко. Он беседовал со стариками, которые приехали на свадьбу сына или подать прошение в Верховный Совет. Ему жаловались, плакались, ждали совета: как же надо просить, чтобы хоть что-нибудь получилось. Петаторов сочувствовал, ему становилось лучше, словно он не один теперь, и все-таки никак не мог найти зацепку-цель, ради которой можно попытаться начать жить. Он вспоминал Надю, Андрея — и не находил в себе сил надеяться, горе бурлило кругом камешка-сердца, — оно чудом продолжало держаться на поверхности.

Иногда Петаторову хотелось есть, и он шел к ближайшему мебельному магазину — заработать рубль или два, перетаскивая роскошные гарнитуры.

«Позвонить бы Наде, — думал Петаторов, — или кому-нибудь позвонить, некому, все заняты своим делом. И умереть мешает — надеждёнка: вдруг произойдет нечто, и я заживу иначе, не о счастье мечтаю, где там. Просто хочу — и н а ч е себя чувствовать. Всё повалилось, нету, а острые осколки летят и бьют по лицу. Появляется некий бодрый человек, и раскрывает зонтик, и кричит: сюда! Тоска может помять, и тогда возникает признательность к обаятельному весельчаку и затейнику. Тогда неважно, что он говорит, — лишь бы говорил с верой и надеждой. Люди строятся и идут за ним.

А где ж-таки выход? Я этого так не оставлю! Я не алкоголик, я Петаторов!»

Он побежал домой в Сокольники.

Сегодня я буду спать, нужно работать! Так просто я не отдамся, меня голыми руками не возьмешь! Я ведь многое понимаю и прокричу людям, заплатил я за право кричать в лицо всем! И не мороз важен, ничего не важно, главное — крикнуть вóвремя, пока обаятельные бодрёцы не полезли грибками после дождичка! Набатов в колокола, услышат, нельзя, чтоб не услышали!

Петаторов открыл дверь — и увидел свои вещи: матрасик и книги, сваленные на полу в кухне. Рядом валялась бумажка. Он поднял ее и читал корявый почерк: «Филипп! Был дважды, не застал. Для тебя есть работка. Зайди в любой день утром. Юлий».

Из-за двери бывшей петаторовской комнаты слышались полупьяные голоса и женские взвизги. Новые постояльцы праздновали новоселье.

## Глава седьмая

## ПОДВАЛЫ

Выползала старушка:

— Филя, ты уж извини, так получилось, денег-то нету, вот я их и пустила. А ты как-нибудь... перебьешься...

— Да, я не пропаду, — сказал Петаторов. — Пусть вот вещички у тебя полежат, пока я помещение не найду другое?

— Конечно, Филя, что уж там говорить, оставляй... покамест. Может, переночуешь сегодня, я устрою?

— Не беспокойся, мать, я найду место.

Петаторов вышел за калитку, за ним опрометью вылетела кошка.

— Филя, тебя прогнали?! — закричала она. — Безобразие! У этой женщины нет сердца!

— Сердце есть, — усмехнулся Петаторов, — да денег нет.

— Это бесчеловечно! Как же мне жить теперь? И поговорить не с кем...

— Так и должно было случиться, киска. Неприятно, что случилось зимой — холодно чересчур.

— Филя! Как же без тебя?

Кошка бежала рядом с Петаторовым.

— Киска, приходи ко мне в гости. Для тебя специально колбаски приберегу. С Васькой приходи...

— А где ты жить будешь?

— Около Таганки, наверное...

— Филенька, далеко очень, я туда дороги не знаю... Не бросай меня! Новые постояльцы — просто пьяницы!

Они дошли до гастронома на углу.

— Прощай, киска. — Кошка взлетела на плечо Петаторова и мурлыкнула. Филипп Аркадьевич погладил ее. Кошка всхлипнула, прыгнула на землю и умчалась в подворотню.

«Итак, я предоставлен самому себе, — подумал Петаторов, — сегодня пересплю на Казанском, завтра — на Таганку, подыщу что-нибудь для жилья».

Холодно... снега нет — холодно. Провода покрыты инеем, улицы опутаны ими, снопы белых струн уходят во тьму над крышами. Гремят трамваи, пахнет гарью.

Петаторов подошел к вокзалу и протолкался. Мешки с мужиками теснили его, а он ловко маневрировал среди чудовищных связок сушек и баранок. Он нашел себе место на лавке и закутал голову шарфом. Свет пробивался — зеленый, красный, нарушал дрему и приучал к себе. Гудели локомотивы и утаскивали составы в другие города, — Петаторов не волновался: там-то у него никого нет, там разные люди со своими заботами, — Бог с ними. Вокруг шумели и гундосили и грызли баранки: рассказывали, что видели, за чем приехали и что купили.

С ними хорошо. Никто не пристает, и я буду спать. Тепло так, разговаривают... тихо...

...

— из-под самого, с Двины. Сына у меня посадили, а ить точно знаю — не он... а ему присудили...

...я хлопотал, чтобы дело заново пересудили, а мне говорят...

скока ему сидеть осталось?

ну вот, говорят, три месяца осталось, а ты хлопчешь

...в том году, когда у нас милицию сожгли...

...вот и он придет, дабы

дабы

ПОЕЗД ОТПРАВЛЯЕТСЯ С ТРЕТЬЕГО ПУТИ

дабы

НИКТО

— Ой, хи-хи, ой! Перестань, Петька, хи-хи!

дабы бы бы бы ыб ыб ыб

ногу убери, твою мать

дабы

тьфу!

вот здесь я ни разу не был что за улица э-э улица! вы его ударили да нет что вы потому что моральный прежде всего сикстинская мадонна? а пива нет вы пошляк филипп аркадьевич пошляк-с! пошляк

ПОШЛЯК

П О Ш Л Я К

— Я ей так и сказал, нечего тут малину разводить, пойду я лучше, а она орет: дочь испортил! Милицию вызову, она тебя научит моральный кодекс блюсти!

вдвоем с мильтоном отволокли и в кровать к ней положили живи

дабы

БРИГАДИР НОСИЛЬЩИКОВ ПИПИН ВАС ПРОСЯТ  
ПРОЙТИ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ

дабы

я за это заплатил и нечего тут, вам бы так заплатить

я люблю тебя

вилку нужно держать в левой руке

милая

вилку нужно держать в левой руке

помоги же мне

вилку в левой

поцелуй меня

если ты будешь держать в левой

не скажу чтоб мы плохо жили. Нет, огородик был, капуста своя, картофель, молоко покупали, так вот, неплохо,

чтобы плохо — не скажу. Грызло только меня как-то, и не знаю: грызет и грызет, будто не на том месте поселился, на котором надо, и однажды говорю

ша-гом марш!

буду звать тебя просто Филей чтоб ты там ни открывал все ведь неважно ведь жить хочется а не фантазировать только а ты фантазируешь изыскиваешь хитроумности всякие а кому это нужно броня непосредственных умников изготовлена из лучшей стали

человек стал человеком потому что стал держать вилку в левой руке

дабы

ЕГО РАССТРЕЛЯЛИ ПОТОМУ ЧТО ОН ВЕЛ СЕБЯ НЕПРИЛИЧНО И ДЕРЖАЛ ВИЛКУ В ПРАВОЙ РУКЕ СВИНЬЯ ОН ДЕРЖАЛ ВИЛКУ ПОЭТОМУ ЕГО РАССТРЕЛЯЛИ НЕ ДЕЛАЙТЕ ТОГО ЧТО НЕ ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ ЕСЛИ ДРУГИЕ НАЧНУТ ДЕЛАТЬ ТО И ВЫ МОЖЕТЕ НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЭТО

ДАБЫ

быбыб ! ыыыыы !

не будьте тем что вы есть а тем кого любят вечная память и слава тоже вечная если вы хорошо себя ведете

и капуста была у нас и огурцы грызло чего-то почему-то

простите это вы автор знаменитой «Приличной трагедии» я давно вами восхищалась

моральные устои самое главное и не пейте пива потому что нельзя одному пить пиво когда все млеют от восторга



НИКТО

МЛЕЙТЕ

ГЛАВНОЕ ВОВРЕМЯ ЗАМЛЕТЬ И НЕ ПИТЬ ПИВО  
ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЛЕЮТ

А ВЫ ПЬЕТЕ ПИВО ЭТО ВЫЗОВ МИРОВОЙ ОБ-  
ЩЕСТВЕННОСТИ

ЕГО РАССТРЕЛЯЛИ ПОТОМУ ЧТО ОН ПИЛ ПИВО  
И НЕ МЛЕЛ

позвольте но я хочу пива почему мне нельзя вы-  
пить пива подумайте: почему бы мне не выпить пива  
тогда когда вы млеете

покопайте глубже: зачем восторгаться когда этому  
мешает то что вы давно не пили пива и вам страшно хо-  
чется его выпить

классический пример: лев толстой употребил за  
свою жизнь 1234554321 букву о

ЛЕВ ТОЛСТОЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ С ТРИНАДЦАТОГО  
ПУТИ В НОЛЬ ЧАСОВ ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ

слава яснополянскому хохмачу он первый понял что  
шекспир говно а он нет потому что он не говно

БРИГАДИР НОСИЛЬЩИКОВ ПИПИН ВАС ОЧЕНЬ  
ДАВНО ОЖИДАЮТ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ

— Эй, матрос!..

Петаторова невежливо разбудила щетка уборщицы.  
Мужики вставали и перетаскивали связки баранок на  
вымытую половину зала. Петаторов поругался с убор-  
щицами и вскочил.

На Таганку, найти временное жильё. Чем тяжелее  
жить, — тем легче на душе, тем проще всё и понятнее.

Он чуть не купил пирожок с мясом, одурманенный его горячим и сытным духом, но вовремя спохватился.

...Он шел по набережной мимо фабрик и маленьких домов.

Останавливались машины и вываливали снег в реку.

От моста Петаторов свернул налево.

Наконец-то он у себя дома, на островке свободного мира; впрочем, и здесь свой князь — техник-смотритель Мыня. Он — отец и благодетель Таганских подвалов. Он — покровитель полуопустившихся и совсем опустившихся художников и беспрописочников. Подвалы радушно принимали всех, требуя единственного: потише и выполняй то, что скажет Мыня. Мыня же говорил обычно: «Слушай, мне сегодня очень нехорошо...» И беспрописочник ставил технику-смотрителю водку. Мыня был не наглый: если угощали, то потом придет через месяц-полтора. Он предупреждал о возможном налете милиции; тогда подвалы закрывались и ждали. Чаще — никто не являлся, раз в год-два жители слушали, усмехаясь, молодцеватые удары в обитые железом двери под девизом: «Эй, кто там, выходи!» Милиция исчезала, и продолжалась жизнь — нормальная и тихая.

Петаторов спустился вниз и шел по длинному коридору мимо шумных котлов парового отопления. Замерцала бронированная дверь. Петаторов прислушался и постучал: та, та-та, та, та-та-та. Молчали за дверью, выждав, спросили:

— Кто?

— Свои.

Дверь открылась с грохотом.

— Филя! — сказал заросший — только нос и уши торчат — оборванец. — Ты всегда желанный гость и проч., забыл. Заходи, проповедник, искатель истины и счастья!

Хозяин захлопнул дверь, они прошли, пригнувшись, во внутренние покои. Уютная комната, полная тряпья; слева около стены стояла настоящая кровать с медными бомбошками, застланная настоящим одеялом. Петаторов сел за стол и с улыбкой глядел на старого своего товарища. Звали его Японцем, когда-то был переводчиком с японского.

«Я живу для своего удовольствия, — любил похвастаться Японец, — до двадцати двух лет пива в рот не брал, учился-старался, а вот понял, как жить надо: попью и лежу-мечтаю. Летом работаю, денег уйма, и опять сюда. Осенью и зимой до января у меня здесь денатурату не найдешь, гастрономное пью. А потом нужда заставит — политурку употребишь. Но и зимой много перевожу для своего опять-таки удовольствия — древних японцев люблю».

— Филя, — сказал хозяин, — какие намерения у тебя?

— Пришел убежища просить.

— Жить негде?

— Снимал, вчера выгнали. Не заплатил.

— Ну и чёрт с ними! Обойдемся. Тут еще комната есть, заселяй!

Они пошли смотреть помещение. Вполне приличное, немножко грязнее, чем хотелось бы. Петаторов вымел пол, Японец принес тряпку — протереть стены. Они втащили три ящика из-под апельсинов и поставили вдоль стенки, под толстой трубой отопления. Японец великодушно подарил Филе старый валик от дивана — с вылезавшим содержимым — под голову.

— Сегодня так переспись, а завтра принеси матрац и насовсем оборудуешься. У меня теплый подвал, и окно большое. Портьерку повесить надо для светомаскировки, — Мыня требует. К нему завтра ходим с четвертинкой, договоримся.

Вернувшись к Японцу, Филипп Аркадьевич усталю опустился в кресло-качалку. Хозяин откупорил бу-

тылку вина и принес из кухни свежесваренной картошки. Они выпили. Японец меланхолично жевал картофелину, глядя в угол.

— Филя, — сказал он, — я в общем-то рад, что ты поселился со мной, но неприятно одно: и ты, милый, начал падать.

— Я не падаю, — сказал Петаторов. — Навсегда не хочу оставаться в подвале. Я вот месяца полтора назад жену встретил — и восстал против себя. Юлька Шептунов работу обещает, будут деньги — уйду.

— Смотри! Отсюда не просто выбраться — слишком покойно, утешает. Падёж интеллигента давно начался, не ты первый, да и не я, — а я живу в подвале седьмой год. Лежать лучше, чем ехать.

Картофелина исчезла в зашевелившейся растительности на лице Японца, он хлебнул из горлышка. Глаза его покрывались свинцом: он быстро пьянел.

— Филя, слушай стихи!! Ты филолог... был... ты поймешь!

В лодке заснул рыболов,  
Парусом ноги укрыв.  
Тихо течение влечет  
Лодку на Запад.  
Солнце заходит,  
Искрится алмаз  
На щеке рыболова.

Я много стихов знаю... забывать стал...

Раздался условный стук в дверь.

— Открой, Филя!!! Это ко мне.

Петаторов ушел и, отодвинув засов, увидел на пороге толстую женщину с веселой бессмысленностью в лице.

— Дома, заходи, — сказал он.

— А-а-а, пришла, шустрая! — заорал Японец и изрыгнул поток тяжелой ругани. — Принесла?!

## НИКТО

— Принесла, чучело! — Женщина не менее искусно выбраниялась, но с гораздо большим изяществом. — Когда сдохнешь-то, паразит!

— Не скоро, шустрая! Ха-ха!

Женщина достала пачку папирос и маленький мешочек. Японец жадно следил: она вытрясла табак и смешала его с тонким коричневым порошком, смесью наполнила папиросную трубочку и протянула Японцу, — тот дрожал от нетерпения.

— Раскури, сука! — сдавленным шёпотом приказал он.

Когда папироса затлела, Японец затаился с внутренним хрипом — и распластался на кровати.

— Хотите покурить? — спросила женщина у Петаторова, и по лицу ее — может быть, показалось? — мелькнула ненавидящая улыбка.

— Нет, я лучше пойду.

— Проваливай, сукин сын! — встрепенулся Японец. — На глаза не попадайся, лингвист, задущу-у-у! И бабу мою... не трогай!!

...Филипп Аркадьевич лежал, слыша деревянные ребра ящиков сквозь нетолстое свое пальто.

Завтра заберу матрац и книги, а послезавтра к Юлию схожу. Выбираться надо, Филя, кандидатушка родной... Где Наденька-то! Слабость прошла, я силу чувствую необыкновенную, все подвалы... переверну

я сплю или нет?

воет вьюга на улице

я очень боюсь вьюги

она воет воет свистит

Надежда!

Что, милый?

А?

я люблю тебя

вьюга воооооой!

спрячь меня

ТЮП

ТЮП

ТЮП ка

ТЮП па

ТЮП ет

ТЮП во

я ведь сплю тепло

о ... ера ... ..на и...ет! Извини!

(Петаторов открыл глаза: рядом стоял Японец).

## НИКТО

— Я, когда выпью, никого видеть не могу, тошно. Вставай, завтрак готов.

Филя приподнялся на локтях, смотрел на трубу, потом на Японца. Спрыгнул на пол и походил, стуча ногтями.

— К Мыне зайти надо, — сказал он.

— Полопаем сначала, куда он денется, алкоголик.

Они ели картошку в кухне и беседовали об особенностях японского стихосложения.

— Японцы не любят длинных стихов, — говорил Японец, похрустывая луком. — И они совершенно правы. Тридцатиднасложная строфа их не стесняет, они поняли, что поэт не может говорить непрерывно, а если делает это, — то лишь заполняет пустоты между зернами. Они предпочли собирать крупички золота. Ты замечал, что в их поэзии нет плохих стихов? В Европе надолго восторжествовало было сонет, и все-таки желание писать рифмованные тома победило. Эти книги берут не стихами, а тайной стиха. Танка — красивейший афоризм, им любишься, европейский афоризм пугает и потрясает.

— Но Пушкин?

— В семье не без счастливица. И ты заметь, Филя, радость в Европе появляется только тогда, когда что-нибудь н и з в е р г а ю т. Очень ее мало, ибо мы не склонны к позитивизму, нет радости, господствует смех: колыхание брюха телевизора, набитого щами...

Они вымыли посуду и отправились к Мыне.

Шел редкий снежок и засыпал тщедушные деревца во двореке. На макушке тонкого тополька торчал валенок.

— Вот! — гордо сказал Японец. — Символ победы подвалов над общественностью. Пришли как-то две мутные старухи, члены этой самой с одна тысяча шестьсот девяносто пятого года, и ну орать: Фулифаны! Туняйтцы! Кута милиция смотрит! Мы стесь нафетем поряток! Мыню нашего избили, два зуба выбили, а мы тем

временем Актера, — тут живет один, — в простыню закутали, и он у выхода из котельной залег в снегу. Вышли они, — Актер сзади как захихикает, застрекочет, заверещит: За вааами пришлааа! Троицкий без вас в котле со скуки погибает! — Они оглянулись — и драть. Актер — за общественностью. Бегут, троллейбус в Язу повалили, Актер не отстает, верещит: «Не уйдёёёте, разлинуем вас! Иголкой раскаленной все произведения писателя Мочетовааа запишем!

Таки удрала общественность. Утром, говорят, в Нарофоминск прибежали, да там и умерли с пением партийного гимна.

— Лихо!

— Денег собрали, Мыне зубы вставили, Актеру гонорара налили, а валенок повесили в память о совместной борьбе... Сюда!

Мыня спал в котельной. Японец толкнул его и сказал:

— Новый поселенец.

— Чо? — спросил Мыня.

— Знакомься: жилец новый.

Мыня поднял голову и с трудом посмотрел на Филиппа Аркадьевича.

— Буквально невозможно.

— Мыня!

— Мне сегодня нехорошо. — И уронил голову на ватник. Японец вынул четвертинку и потер гладким ее боком о Мынину руку. Пятерня техника-смотрителя оцупала бутылку и шмыгнула с нею под живот.

— Ну ла, — сказал приглушенный ватником голос. — Пуца.

Во дворике Петаторов простился с Японцем и поехал за матрацем и книгами. Хозяйка вручила ему еще одну записку от Шептунова.

«Был. Работа пропадает, — куда ты подевался?! Зайди как можно скорее».

«Завтра, — подумал Петаторов. — Что у нас завтра? Четверг».



## Глава восьмая

## НАДЛОМ

В четверг Петаторову не удалось дойти до Шептунова. Он проснулся в полдень, было тепло и удобно, даже есть не хотелось. А потом лежал и курил, читая Гомера. Пришли Японец с Актером. Одного уха у Актера не было. Они пили чай, и Актер развивал свою теорию: чем глубже человек падает, тем больших высот понимания он достигает. «Заботы о комфорте и пропитании, некогда подумать о сути дела; истинное — в понимании: поняв, — ничего не предпринимай, не то больно будет. Я всю жизнь играл Актера и вошел во вкус. Премного доволен немногим».

— Да, — сказал Петаторов, — но мы разъединены, что в нас человеческого?

— Так было, так и будет. Каждый решает в одиночку для себя. Плевать на остальных! Произошло небывалое: изнасиловали целый народ; может быть, в отдаленном будущем он чем-нибудь разродится — не дай Бог, приапом, а пока — нишкни! Ты, Филя, в Христосы лезешь, но у Иисуса никто не спрашивал о прописке и национальности, никто не выселял Его на сто первый километр от Иерусалима. Ему дали сказать всё. А ты — нишкни!

— Не хочу!

— Тогда твори, испытывай, пробуй! Только зубы береги, а то нечем пайку жевать будет.

— Отчасти Актер прав, — заметил Японец. — В тебе человек вопит, не смиренный ты. Хочешь быть счастливым, — закрой глаза, хе, хе!

Актер сбегал за бутылкой вина, они пили. Японец рассказывал о приступе белой горячки:

— Пришел в гастроном, а у каждого человека за спиной — белоснежные крылья. Очень испугался. Все с крыльями толпятся, и даже участковый — и тот на

крыльях подлетел к магазину. Он-то и спас, век не забуду: как даст в ухо.

В дверь условленно постучали. Японец поднялся открыть, — пришла баба.

— Идешь к женщине — не забудь антибиотики! — гнусаво сказал Актер. Японец чертыхнулся и увел бабу к себе.

— Я пойду, — сказал Актер, — полежу немного.

Петаторов растянулся на ящиках, курил и старался не поверить Актеру.

Он заснул — до утра, изредка слыша из-за стены стенания Японца: «Да не елось, шустрая!!! Дура ты дура, по-японски двух слов связать не можешь...»

. . . . .

— Здравствуй, Филипп! Наконец-то! — радостно воскликнул Шептунов. — Чуть работа не пропала — преотличная!

— Что за работа?

— Есть у меня один знакомый из верхов, товарищ Шулятко, так он предлагает: ходить по комнате с металлическим предметом в руках. Цена — сто рублей.

— Впервые слышу о таком извращении... Любопытно. И когда же?

— Хоть сегодня вечером.

— Отлично! Но не выпить ли чаю?

Чашки дымились. Приятели бросали сахар в чай и размешивали. Горько-сладкий чай.

— Юлий, я значительно повеселел! Готов бросать бомбы.

— Э, понять, Филипп Аркадьевич, прежде надобно, и по-другому смотреться будет. Я, например, сегодня винца выпил... это неважно, разумеется... Пока мне ясно: мыть задницы э т и м — не хотим. Всякое там искусство — золочёный багет, они околачивают им собственную натуральную задницу. Петр прорубил окно в Европу, и затем, оказывается, чтобы они могли выставить в это окно свой немеркнувший зад.

— Ближе к делу, Юлий.

— Да! Пей чай, Филипп.

Петаторов нетерпеливо, не ощущая вкуса, глотал горячую жидкость.

— Поехали! Где твой Шулятко?!

— ...Всё дело в диджеях и топлифе. У нас есть такое топлифо, а у амениканцев нету!

— Потому што отштали они от наших темпоф...

...В троллейбусе было многочисленно. Они ехали по темной улице, редко освещенной жужжащим светом. Приятели сошли, и ветер закружил их, забросал мелко наколотым льдом.

— Тут, — сказал Шептунов и открыл дверь.

— Стой! — сказал кто-то, закутанный в мебельную ткань. — Куда?

. . . . .

Старик бросил в ванну хвойные таблетки и поплелся в комнату за часами. Выглянул в окно. Холодно. Дом напротив стоял мертво, завесив глазницы портьерами. Хоть бы полоска света. Мерзкий холодок прополз внутри, и он ушел в ванную. Изумительная зеленая вода, пахнет чудесно сосновыми досками. Долго забирался в ванну, боясь поскользнуться. Вытянул руку и перевернул часы.

Песок посыпался тоненькой струйкой.

. . . . .

— Можно видеть товарища Шулятко? — спросил Юлий красивого мускулистого юношу.

— Мы вас ожидать давно! — улыбаясь, с французским акцентом сказал юноша. — Прощу!

Они прошли в квартиру под грохот цепи.

Шулятко выплыл навстречу.

— Друзья мои! Вовремя вы пришли, я уж подумывал о другом кандидате. — Он открыл дверь полупустой приемной. — Давайте знакомиться.

— Филипп Аркадьевич.

Шулятко схватил кисть руки Петаторова и мягко пожал ее:

— Очень, очень рад! Юлий, тебе десять... как условились...

— Раймонд! — крикнул Шулятко. — Проводи Юлия. Да! Любезный, позвони через неделю и подготовь новые предметы...

Когда Раймонд увел Шептунова, товарищ Шулятко пояснил:

— Этот малый — стажером у меня...

Он снял с шеи ключик на шелковой ленточке и подмигнул доценту.

— Сейчас начнем! — И хихикнул.

Кандидата разбирало любопытство, он смотрел, как Шулятко отпирает маленькую дверцу в стене.

Чем живут эти люди? Я впервые в высшем обществе. И что вообще знают и хотят знать о нас? Если им сказать по-человечески: погодите, перестаньте на минутку ломать людей, дайте и другим высказаться. Пройдет сколько-то еще лет, и опять польется кровь....

— Пожалуйста, Филипп Аркадьевич!

Шулятко нажал кнопку. Комнату залил густой красно-фиолетовый свет.

Петаторов остолбенел.

Тускло мерцая, на стенах висели гирлянды цепей и кандалов, кольца, наручники, древние зазубренные топоры, плётки, ножи, клещи. В одном углу стояла дýба, а в другом — верстак с привернутыми тисками, заваленный инструментами. Лениво откинулись назад низкие мягкие кресла.

— Всё объясню, — сказал Шулятко, видя изумление Петаторова. — Я, как вы знаете, человек государственной важности, очень устаю, — ведь у нас столько хлопот! А тут — комната отдыха, так сказать. «Ничто человеческое мне не чуждо», — говоря словами Карла

Маркса. Вы понимаете, конечно, что об этом не следует распространяться: могут начаться толки, сплетни, а у нас в правительстве держи ухо востро, подсидят! Придешь усталый — вешаться хочется, а цепочки погладишь, кнутиком пощелкаешь, — и силы откуда ни возьмись берутся, хе-хе! Или вот кандальчики сработаете какие — всё это моими руками сделано, кроме некоторых редкостных экземпляров. Дыбу полтора года мастерил. А вот посмотрите: гаррота с часовым механизмом — два часа удавливать можно! Чувствую, что я — Кулибин, но хлеб у других отбирать не собираюсь. Я и сам знаю, что мастер. Хе-хе! А теперь, любезный, позвольте надеть на вас вот это...

Шулятко щелкнул замками наручников.

— А теперь вот это... — Он ловко стреножил Петаторова кандалами и подвязал длинную цепь к поясу. Отошел и полюбовался своей работой, и задышал часто-часто.

— Хорошо! — прошептал он, отступая к креслу. — Ходи, ходи, вот вся твоя задача! — И упал в объятия плюша.

Кандидат ступил — неуверенно и неловко, цепи зазвенели, зацарапались.

— Ах! — взвизгнул Шулятко, откидываясь назад.

. . . . .

Петаторов плыл в красном мареве, звеня цепями, а туша товарища Шулятко росла и пухла, занимая всю комнату и вытесняя остатки воздуха.

— Вот они, голубчики! Тра-ха-ха! Все у меня в кулаке! Сжал — ничего, ха-ха! Толпы бредут, а вокруг деревья и... собаки! Мы всех — к ногтю! Не пикнете! Я над вами хозяин, я!!! Плачете?! Детей-жен поминаете?! А я зачем?! Чтоб всех вас кнутиками, клещиками, мясо дольками срежу! Затрепещите, застонете, косточками у меня в ку-лак!! захрустите! А-а-а-а, хорошо! Ой,

ой, ой, ой, не могу! Ах! Плачет, причитает, а я в глоточку свинечка плесну, ой! ой-ой! Стихи... Стихи читай... страдальческие!.. — прохрипел Шулятко, расплзаясь по креслу.

Петаторов услышал и забормотал, идя кругами по комнате.

Прямо дороженька: насыпи узкие,  
 Столбики, рельсы, мосты.  
 А по бокам-то всё косточки русские...  
 Сколько их!.. знаешь ли ты?

— Вот именно! Косточки русские! звон-то какой! и всё идут и шли так: диньдон-динь-дон-диньдон! Сто! Тысяча!! Триста миллиардов!!!! а Я — над ними! И огоньком шипит мяско! ой, ой, ой! вот вам Шулятко! Ой! Ой! не могу-у-у-у! ой-ой!

Шулятко вцепился в ручки кресла, он вздрагивал, лицо пылало огнем, и каждая клеточка его тела пела песнь счастья. Наслаждение уносило ввысь, посветлело всё вокруг, прикованные кричали и рыдали, бренчали кандалами и умирали с проклятиями. Дымилось мясо, ноздри Шулятко вибрировали, вбирая все запахи боли и страха.

...восклицанья послышались грозные!  
 Топот и скрежет зубов;  
 Тень набежала на стекла морозные...  
 Что там? Толпа мертвецов!

«Неужели это правда? — подумал кандидат, задыхаясь и забыв, где он, — вся жизнь и вся Россия проходила перед его глазами. — Вот, моя жизнь, а я не мог догадаться. Искать хотел, надежду берег, будто счастье изобрету. Рецепт счастья давно потерян безвозвратно. Если один человек счастлив, другой проклинает мир. Не счастье — весы есть. И кому я хотел

кричать? Не звезды красные на башнях, милые тараканы, а глиняные кукиши. Будьте вы прокляты!..»

Шулятко больше не мог. Наслаждение измотало его, пот лился по лицу, смывая сладостную улыбку. Шулятко стекал с кресла, скатилась вслед за резиновой трубкой шеи голова и с тупым деревянным стуком подпрыгнула на паркете. Рука его с трудом нащупала потайную кнопку и нажала.

...Кандидат с удивлением смотрел на красивое лицо Раймонда, — тот быстро снял кандалы и наручники и вывел Петаторова в коридор.

— Это вам за работу, — приятно грассируя, сказал француз и сунул конверт в карман кандидату. — Я вас провожу.

Петаторов подчинился толчкам сильной молодой руки, он сосредоточился и парил над выжженным полем своей жизни.

Вцепившись в руку Раймонда, он шел вниз по лестнице.

. . . . .

Старик согрелся и замечтался. Глаза его ласково блуждали по стенам, потолку и увидели вдруг часы. «Господи! Пересидел!» Весь песок ссыпался в нижний пузырек колбы и лежал остроконечной горкой. Старик испуганно и торопливо выбрался из воды, приятно пахнувшей досками, и закутался в мохнатое полотенце. Прошлепал в комнату и выпил чашку с приготовленным лекарством. Он подошел к окну и заглянул в черный провал переулка. Бр-р! Дом напротив стоял сумрачно и неподвижно. Одна лампочка над подъездом горит. Старик увидел, как открылась дверь и на улицу вытолкнули человека. Он пробежал шага четыре и упал. Поднялся, шатаясь, но устоял и побрел по переулку.

«Мелкий родственник э т и х, наакался, свинья!» — брезгливо подумал старик и дернул занавеску.

## Глава девятая

## НОЧЬ

Петаторов шел домой в подвал. Сверкающие обрывки фраз пролетали в голове, он забыл, что у него есть деньги и что он мог взять такси, — он шел пешком. Благополучно дотащился он до набережной, изредка останавливаясь и присаживаясь на сугроб — отдыхал и думал. Кандидат тер лицо снегом, оно горело, и трудно было ему ухватиться за какую-нибудь мысль, уцепиться и не упасть. Он завернул за угол и споткнулся. Налетел ветер, пытаюсь помочь кандидату встать, и умчался. Петаторов полз, за ним оставалась широкая полоса примятого снега.

Где?.. А, милый подвал я ведь дома или нет садик! сад почему он в снегу а мне жарко... деревья у Христа говорите иерусалимской прописки не было! О, люди кругом! Это ученики. Не спите сегодня, ладно? Бодрствуйте со мной! Я говорю сегодня вам. Вот ты, ближний, наклонись, я целую тебя — брата...

Губы Петаторова коснулись обледенелой коры.

Спасибо. Остудил. Так вот что я хочу...

Помните, что вы люди, не позволяйте себе лгать. Раствление проникло во все поры, смрадом заглушили душу свою.

Не топчите бриллиант свой, ибо чем тогда на зверей непохожи будете?

Человек один не живуч, вспомните о роде человеческом!



## НИКТО

И даже мне не искупить вину вашу, криком никаким не вырвать рабство из вас!

Идите и проповедуйте это, пусть смеются и заушают.

Заразите их добротой, как другие заразили страхом.

Но говорить не смейте прежде веры.

Прокляните себя и отчайтесь, и увидите ее, золотинку-душу, на дне вашем.

Иначе не жить вам людьми.

...и вы заснули, ученики мои. Утомились, скушно вам... ибо давно знаете это...

Петаторов упал лицом в снег и закричал: Господи! Никто не услышит, Господи!

Заскребся и пополз к двери подвала, переваливаясь, задыхаясь, и по ступенькам руками шагал — вниз, долго. Телом смёл пыль и мусор с бетонного пола — вперед, к блестящей железом двери рая.

Вскинулся телом и повис, зубами поворачивая ключ в замке.

Вот и рай, теплый и тихий. Я сейчас лягу, винца выпью...

Петаторов забрался на ящики и вытянулся. Взгляд его остановился на толстой трубе — ржавой, с желтыми пятнами. Она висела над ним, и тепло ее проникло в кандидата, и стало на душе сладко. Он пошарил около изголовья — бутылка. Отхлебнул и выплюнул — горечь какая! Уксус.

И вдруг кандидат заметил, что труба стала опускаться. Он поглядел внимательнее: в самом деле, медленно-медленно опускается. Вот и дотянуться, не вставая, можно. Потрогал поверхность трубы: горячая, штукатурка зловонна.

Сейчас тепло совсем станет... хватит, милая труба, а то ведь жарко.

Труба опустилась ниже, уперлась в грудь, и невыносимая тяжесть навалилась на Петаторова. Он уперся в трубу руками, она тяжелела, и не мог кандидат сдвинуть ношу или выскользнуть из-под нее. Он слышал: затрещали под ним фанерные ящики, оседая, труба вдавливалась в грудь.

Трещит тара! Непрочная. Неужели из Африки доехала...

Боль пронзила Петаторова, он дернулся, и донесся до него крик:

...ииилиии!.. ...ииилиии!..

Над самым окном пробежали быстрые легкие ножки, и снова услышал он родной голос: — Филипп! — а потом издалека уже донеслось:

...ииилиии!..

«Надежда!» — хотел отозваться Петаторов, но только хрип вырвался из горла, и вслед за ним хлестнула горячая кровь. Он захлебнулся, и тогда услышал, как запели горны и зарокотали барабаны.

Филя отходим

татата

татата-тааа-а

та та

ТА ТА

ТАТ ТА ТА ТА

колокола!

НИКТО

бъют в колокола!

бам бам бам бам бам бам бам бам бам бам бам бам бам бам бам бам  
MM

БАМММ БАМММ

БАМММ БАМММ

БАМММ

С потушенными фарами во двор въехали милицeйские машины. Кое-где светились подвальные — в две ладони — окна. Дом врал в землю, и неизвестно было, сколько этажей уже опустилось. Мыня предупредил жильцов о возможном налете, и во дворе дежурил древний дедушка в лисьем полушубке. Он пронзительно свистнул и пропал в котельной. Свет в подвалах моментально погас.

— Что прикажете делать, товарищ капитан? — спросил вечно смеющийся веснущатый сержант.

— Выковыривай, — мрачно сказал капитан.

— Есть выковыривать!

Застучали в двери ядрёные кулаки, зазвенели разбитые стекла.

— Ат-крывай!..

...Окно разбили, луч фонарика пошарил по стенам и наткнулся на человека. Он лежал на ящиках, голова неестественно свешивалась — словно шея подрезана — лицом к окну. Сержант вздрогнул, увидев счастливую улыбку на бледно-сером лице и окровавленные щеки и подбородок. Он доложил капитану, подобрал длинную острую доску и просунул в щель окна. Долго и старательно тыкал в живот, плечи, спихнул тело на пол.

Человек не шевелился.

1966

ПРОЗРЕНИЕ

Безмолвный хаос должен поглотить  
Души твоей отважные потуги.  
Певцу назначено стремленье воплотить  
И запереть навеки в четком круге.

А вырвется — и в тот же миг умрет.  
Ошибка мастера печальней преступленья.  
Кто защитит, когда истлеет рот  
И душу поразит оцепененье?

Я осмотрителен, но зябко на земле,  
И, потрудившись сладко и упорно,  
Копая прутиком в угаснувшей золе  
Листков, не знавших  
Совершенства  
Формы.

\* \* \*

На полпути к вершине отдохнуть  
И, замирая сердцем, отодвинуть  
Ступени вниз. И вот отрезан путь,  
Глаза земные осторожно вынуть,

---

Стихи получены из России, где распространяются Самиздатом. Автору их меньше тридцати лет. Был исключен из института за свободомыслие. Пишет философские опусы и стихи. Работает чернорабочим. — Р е д.

## СТИХИ

И на мгновение кажется — ослеп,  
Пока не вспыхнет зрение второе,  
И в Тело превратится хлеб,  
И небо глубину открывает.

Тогда парение в молчании, тогда  
Становится живущим наблюдатель...

. . . . .

Вот

Истина.

\* \* \*

Отдайся тьме, ее не одолеть!  
Отчаянье — порог, а за порогом

. . . . .  
. . . . .

Умей же слушать, научись дышать...

— О, почему мне всё знакомо?..

Куда пришла ты, знаешь ли, душа?

— Я вспоминаю... — Где же ты? —

— Я... дома.

## Раздумия

### Эссе

Плачу? Да, плачу. Я совершенно не хотел её убивать. Ну, была только ловкость, и хотелось грациозно, с победой и добычей придти к друзьям. А теперь? Даже возвращаясь, я не могу говорить о пустых руках. Я клал её на ветки, представляя, что она взлетит и мне всё простится. Но не прощалось. Я даже подкинул её, мертвую птицу, над землей, надеясь на взмах крыльев и воскрешение. Но она мертва. Я это помню и жду крика смерти от каждого чучела.

\*\*\*

Раздумия о движении приходят в тишине, под однообразие часов-ходиков. Под что-то еще, что успокаивает и почти усыпляет. Грань реального и фантастического где-то тут рядом, и растворяется. Вот уже обступили дома-великаны; как ни запрокидываю голову, я не могу увидеть даже их середины. А широко расставленные ноги прямо надо мной — башмаки стертые, с облупленной краской. Подталкивают в спину, и я иду, пробираясь по его лабиринтам-ходам, где даже свет лампочек, которые без колпаков, имеет запах плесени и темноты. И тысячелетняя тайна пыльных окон, выходящих во двор, живущих одними заборами. Я никогда не видел жильцов внутри этого дома, если даже пытался сильно. Вот уже почувствовал — должен появиться, но только тень вижу, и запах жареного лука

---

Эта рукопись получена из России, где распространяется Самиздатом. — Р е д.



## СТИХИ

неведомо откуда приходит. А взобравшись на самый верх и приоткрыв дверь, обнаруживаю только пустые бочки. Покачивается голая лампочка на черном шнуре. И молчащая пасть черного репродуктора, как наглый глаз врага, жаждущего вашего исчезновения, когда можно будет порыться в сундуке покойника. Вы представляете? — я там никогда не видел крыш.

\*\*\*

Бродящая, бороздящая, опустилась по камням-звездам луна и через некоторое время, не долго думая, выкупалась тут же в пруду. Вышла из воды, и всё засветилось. И осталась после неё серебряная музыка, под которую все, конечно, пели и никто не помышлял о таком злодействе, как сон и скучные разговоры. Вот так она шла, а я был паж. Не верите? Вы тогда проснитесь в ночь полнолуния, и босиком по полю, а там вы сами не заметите грани, и всё будет так, как я вам говорил.

\*\*\*

Всё гибнет. Гибнет неумолимо, и не остановить. Гибнет, как фикус на старом и пыльном подоконнике, закрыв свет для стальных часов. И потому время на них совершенно незаметно, потому в дальних комнатах этого дома слышны только вздохи и разговор вполголоса или шёпотом. В передней остаются галоши еще не пришедших людей, и по большому зеркалу, в рамке из красного дерева, наложены отпечатки тех, кто когда-либо в него смотрелся. И рога-вешалка зацвела фиолетовым цветом. *Гибнет, всё гибнет ...* Почтовый ящик ломится от некрологов еще живых, и из боязни прочесть свою фамилию, его никто не открывает.

*Всё гибнет!..*

\*\*\*

Верните каждого и поклонитесь ему, и предложите войти. Всё, что мы имеем, наши беды и наши заботы, и такое, к чему они тянут руки, пусть берут, и легко им будет, если это добро и любовь, и большое и сильное им поможет в пути, когда умеете, чтобы был праздник. А самое важное и главное — дайте им свободу полета, и пусть каждый будет судьей сам себе, и сам ставит стены вашей крепости. Напеките побольше лепешек.

А самое главное — не закрывайтесь.

\*\*\*

Только мы не сможем бродить за этим цирком. Он умер. Сняли купол, как голову. Даже не все фургоны отправились в путь. Всех дрессированных животных отпустили, и они никуда не убегали, ибо не знали до этого, что такое свобода. Они стояли кучками и ждали, когда же их позовут, или кто-нибудь крикнет: «Оп ля-ля». И за совсем просто можно кусочек сладостей. Ведь надо очень мало: только лишь, чтобы иногда погладила добрая рука, добрая, очень добрая.

*Посвящается моему отцу*

Иные, вполне порядочные и либеральные люди,  
— вроде моих родителей —  
при виде юноши с длинными волосами  
— если он только не семинарист, конечно —  
впадают в ужас и иступление,  
крича, что культура гибнет,  
цивилизация рушится  
и мир приходит в упадок.

А иные поборники новой жизни, любви и мира,  
— взять, к примеру, хотя бы меня —  
при виде бритого, сытого,  
консервативно одетого человека  
преисполняются злобы и отвращения,  
ничуть не сомневаясь в том,  
что он непременно:  
расист,  
шовинист,  
империалист  
и держит свою жену на привязи в кухне.

Дорогие родственники и друзья по обе стороны  
пропасти меж поколениями!  
Не кажется вам иногда, что мы все слишком  
заняты внешностью?  
Что когда в живых, настоящих людях  
начинаешь усматривать символических чучел,  
то это — опасно?

В чучел легче стрелять, чем в людей.



Приход весны всегда неодинаков.  
Бывает так: из дома выходя,  
Вдруг ощутишь зеленый, влажный запах  
Травы, тумана, мая и дождя.

И ты пойдешь, по сторонам глаза,  
Забудешь друга, дом и все дела,  
Поймешь, что для тебя всего важнее,  
Что улицы светлы, как зеркала,

Что каждый лист отчетлив и отделен  
И ничего насущней в мире нет,  
Чем эта ослепительная зелень  
И этот серый мокрый майский свет.

*Нью-Йорк*

Александр Петров-Агатов

## Арестантские встречи

НЕВЫДУМАННАЯ ПОВЕСТЬ

*По Рождестве Христове  
лето 1969-ое*

Беды приходят неожиданно. Аресты — не исключение. О них тоже никто не предупреждает. Особенно в советской стране, где очень много красивых слов о свободе и братстве, но очень мало совести и чести.

Отсидевший уже более двадцати лет и год только назад вышедший из тюрьмы, я никак не мог предположить, что меня схватят снова. Ан — нет. Взяли, не схватили, а именно культурно, с учетом цивилизации, взяли, любезно усадив в комфортабельный «зим».

Утром, примерно в десять часов, дочка моя Елена, недавно закончившая МГУ, Анатолий — ее муж, молодой журналист, и я разошлись по своим делам. Алешка (так зову я свое двадцатилетнее чадо) побежала в больницу, зять мой — в магазин, я — на временную свою квартиру, чтобы переодеться. Дома мы не имели (в наше время это — редкость) и жили в разных точках государства великого. Я с мамой, семидесятилетней старушкой, ютился в Ленинграде, почти что в чуланчике, Алеша с мужем работали в хабаровской краевой телестудии и жили не в лучших условиях. Меня в Мос-

---

Эти очерки распространяются Самиздатом. Автор — заключенный. См. о нем в «Гранях» № 80. — Ред.

кву вызвала «Литературная Россия», собравшаяся печатать мою повесть, — нужно было прочесть гранки, а юная чета приехала в столицу, чтобы подыскать новое место работы: из телестудии их вышибли за то, что дочь дала кое-кому из коллег прочесть письмо Александра Солженицына съезду советских писателей.

Мы, разумеется, этим не огорчились и на срочном собранном заседании решили податься в Азию: голодранцам, вроде нас, там легче живется — не надо думать о теплом пальто, зимней одежде и т. д. Там можно «и зимой, и летом — одним цветом».

Так вот, переночевав «зайцами» в общежитии МГУ у приятеля Анатолия — аспиранта университета, мы, повторяю, разошлись. В этот день я должен был получить в редакции аванс за повесть и сейчас летел по Ломоносовскому к старушке-еврейке, приютившей меня, чтобы переменить сорочку: неудобно же в редакции появляться в грязной рубашке.

Не доходя буквально нескольких метров до дома преподавателей, где на тринадцатом этаже в 244 квартире стоял мой чемодан, я почувствовал — не увидел, а именно почувствовал, что двое рослых людей прижимают меня к подъезду. Оглянулся. На меня тревожно и цепко смотрели типичные чекистские физиономии. В любом наряде (дядьки эти были в штатском) бывший арестант узнает их сразу. Мысли на этих лицах нет. Что ни физиономия, — нюх и сыск. Лицо, превратившееся в нюх. Глаза — тоже. Представляете?

— Что вам от меня надо? — спросил я.

— Пройдемте в подъезд, — зашептал тот, что постарше. Помоложе, со шрамом на щеке, держал руки в карманах брюк.

— Вы меня хотите ограбить? — попробовал пошутить я, где-то смутно догадываясь, что это арест.

— Нет, мы хотим проверить ваши документы. Пожалуйста, не волнуйтесь, — скороговоркой, уже громче, бросил первый.

## АРЕСТАНТСКИЕ ВСТРЕЧИ

— Вы из милиции?

— Мы из народной дружины. К нам поступили сведения, что вы живете без прописки.

— Всё ясно. Вот вам паспорт.

Чтобы облегчить положение сыщиков, я повторил:

— Всё ясно. Вы меня повезете или пешком пойдём?

— Конечно, повезем, — осклабился пожилой сыщик. — И даже в «зиме».

И действительно, как по мановению волшебной палочки, к подъезду подкатил автомобиль. Дорога, по которой шла машина, не оставляла сомнения, что везут меня на Лубянку, ту историческую Лубянку на площади Дзержинского, с которой у граждан, живущих в советской стране, связаны представления, а для некоторых и воспоминания об ужасах и пытках. Быть взятым на Лубянку — это значит потерять надежду на возвращение в жизнь. Привезенный сюда в 1947 году, я прошел через все крупнейшие тюрьмы и лагеря Советского Союза и был освобожден лишь двадцать лет спустя. И сейчас, сидя в машине, я думал не о том, что позади, а что меня ждет.

В связи с чем арест? Что-то теперь будет с Алешкой, Анатолием, мамой, будто все они маленькие дети и им непременно нужно мое присутствие. Мама, изможденная бесконечными страданиями и только-только ожившая при моем освобождении, не переживет моего ареста, — решил я. Алешку обязательно обидит Анатолий, а сам сопьется, погибнет...

...В кабинете на Лубянке, куда меня ввели, за письменным столом сидел человек, опять же в штатском. Похож на татарина. Лет пятидесяти. Ворот рубахи распахнут. Пухлые, мясистые руки, с толстыми, как сардельки, пальцами. И желтое, с синими мешками под глазами, одутловатое лицо. По-видимому, печень и почки допекали этого субъекта. Перед ним лежали переписанные на машинке рукописи моих стихов и повести, которые я неделю назад дал прочесть старосте

московской церкви иконы «Нечаянная радость» Елене Борисовне Загрязниной, называвшей себя «большой хозяйкой маленького дома». Церковь действительно была невелика, но хозяйка, хоть и длинная в меру, имела другие основания считать себя большой и полновластной. Об этом я узнал несколько позже и, разумеется, поделюсь с читателем в свое время.

— Знаете, за что вас арестовали? — спросил майор Хабибулин, предварительно назвав себя, и многозначительно посмотрел на рукописи. Я понял, что он сразу решил внести ясность.

— Неужели за стихи? — удивился я.

— Эти стихи хуже атомной бомбы, — решительно отрезал он. — Сейчас ни о чем разговаривать не будем. Я хочу, чтобы вы собрались с мыслями и просто отдохнули. Вот вам ордер на арест, подписанный прокурором. Теперь не те времена, мы *просто так* не берем, — не бойтесь. Сидеть на Лубянке не будете. У нас здесь сейчас вообще никто не сидит. Вас отвезут в Лефортово. Там сейчас политический изолятор.

— Тюрьма... вы хотите сказать... — поправил я.

— Изолятор. У нас теперь тюрем нет.

В Лефортово меня уже повезли не в «зиме», а в «воронке». Надеюсь, читатель не упустил возможности познакомиться с этим «чудом XX века». Симпатичные, везде проходящие машины с сиренами скорой помощи. В годы Сталина на них в порядке маскировки писалось «Хлеб», «Мясо», просто «Продукты», и не без основания, как я думаю: в машинах этих, набитых до отказа, перевозились из тюрьмы в тюрьму «продукты эпохи».

В Лефортове я оказался впервые. Знал, что раньше тут была режимная политическая тюрьма. Ходили слухи, что здесь, как, впрочем, и на Лубянке и в Бутырках, расстреливали без суда и следствия. По приговорам на тот свет тоже отправляли отсюда...

Как и двадцать два года назад, предложили раздеться догола, но без криков и угроз. То и дело слы-



шалось: «будьте добры», «пожалуйста», «извините». Можно было подумать, что попал в парикмахерскую и вот-вот спросят: «Вас не беспокоит?», тем более, что на всех тюремщиках были халаты, на иных даже белые. Прогресс был явный: на этот раз мне никто не заглядывал в попу.

После тщательного обыска дали матрас, две простыни, одеяло, подушку, полотенце, миску с ложкой и кружкой и препроводили в камеру. И опять же — шаг вперед, в демократию: не в одиночку. Навстречу, как только передо мной распахнулись двери шестьдесят четвертой, с коек поднялись два улыбающихся узника.

— Проходите... Проходите...

— Здравствуйте...

Дверь закрылась без скрипа и шума. Тихо, почти нежно.

Состоялось первое арестантское знакомство. Но мне вступать в разговор не хотелось. Я попросил извинения и забился на койку. На аресты все реагируют по-разному. Я в моменты наивысших потрясений хочу спать. Возрождает меня к жизни в таких случаях только сон. Родственники арестованных к известиям об арестах близких тоже относятся по-разному. Жена Андрея Синявского\*, например, Мая Васильевна, узнав об аресте мужа, которого тщетно искала трое суток, облегченно вздохнула: «Слава Богу! Жив! А я думала, что он под машину попал».

...И на этот раз я проспал не менее трех часов. Сокамерники не без труда растормошили меня к ужину. Подали картофельное пюре с куском селедки.

— Учтите, что такое лакомство бывает только раз в неделю. Вообще же — каша. Керзовая, как правило (я уже знал, что керзовая, вернее, кирзовая — от названия сапог — это значит овсяная. Иногда ее арестанты называют «и-го-го» и в шутку замечают, что

---

\* См. его биографию в «Г р а н я х» № 80, стр. 146. — Р е д.

лошади косятся на людей за то, что те поедают их корм). Ларек — в месяц на пять рублей. Передачи — в два месяца один раз, не больше пяти килограммов. Сливочного масла не положено. Колбас и другого мясного — тоже нельзя ни в ларьке, ни в передачах. Библиотека — в десять дней один раз. Газеты — «Правда», и никаких больше. Ежедневно. На допрос только днем. Ночью теперь не вызывают. Всё на «вы» и на «будьте любезны».

Говорил Садо. Высокий представительный Юрий Юханович, очень похожий мужественным лицом на грека, в действительности — ассириец, примерно пятидесятилетнего возраста. Осужден он был за какую-то валютную операцию, сидел в уголовном лагере, а теперь его привезли сюда на очную ставку с арестованным бизнесменом.

— Позвольте, но какое это имеет отношение к политике?

— В Советском Союзе всё имеет отношение к политике. И самое прямое! — спокойно ответил мой новый знакомый. — Всеми валютными частными торговыми сделками, за которые в голову никому не придет судить за рубежом, здесь привлекают к ответственности кагебешники. Душат, так сказать, экономическую контрреволюцию на корню. А вы, простите, за что? За стихи? Неужели за стихи могут посадить? Ай-ай-ай... Прочтите хоть одно... если помните...

Прочел два. Поэты читают свои стихи даже по дороге на виселицу, если их об этом попросят.

— Великолепно! — закричал Садо. — Как жаль, что этих стихов не знает мой брат! Их целая группа. Все молодые люди, окончившие университет. Из Ленинграда. Не слышали?

— Первый раз слышу, — признался я.

— О! Как можно! — искренне удивился Юрий Юханович. — Сейчас я вам расскажу. Хотите?

## АРЕСТАНТСКИЕ ВСТРЕЧИ

— Конечно, хочу. Но сначала позвольте мне ближе познакомиться со вторым сокамерником.

— Да, да, конечно... Он — за войну.

— Александр Петрович Ершин, — вторично представился невысокого роста, крепко сбитый, с густой каштановой шевелюрой (волос подследственным не стригли), с широкоскулым монгольским лицом мужчины средних лет, похожий на крестьянина.

— Как за войну? — не понял я.

— Да, так вот. Когда мне было восемнадцать, попал в оккупацию под Москвой. Так случилось, что пошел на работу в полицию. Расстреливал евреев. А вот сейчас узнали об этом.

— Только сейчас?

— Только сейчас. И так, понимаете, обидно... женат ведь... дочка Галочка. Хорошая такая. Во второй класс ходит. Думал, что всё бесследно забыто. А вот... видите... Только что квартиру новую получил.

— А за что же вы это евреев-то? — осторожно заинтересовался я.

— Как за что?

Ершин моментально преобразился. Это уже было не простое крестьянское лицо, а оскал разъяренного волка.

— Это же — не люди! Жиды — не люди!

— Все?

— Без исключения!

— И младенцы?

— У них нет младенцев. У них все жиды. От них все несчастья. Если бы мне в руки сейчас автомат...

Я понял, что об угрызениях совести с ним говорить бесполезно. Но уже через несколько дней, узнав, что я верующий и что интересуюсь сновидениями, Александр Петрович как бы между прочим спросил:

— А вы не скажете, почему это мне всё время... те... убитые снятся? Первое время прямо-таки боялся засыпать — так меня одолевали они.

Я пробовал объяснить Ершину, что человек не умирает, что души убитых им — живут и призывают его к покаянию... Но я не уверен, что он внял словам моим. Тем более, что через несколько дней его увезли в Латвию, где в основном были совершены его злодеяния. Перед отъездом ему удалось выбить через следователя и начальника тюрьмы два килограмма сала от жены, столько же сахара и колбасы. Он уехал вполне удовлетворенным.

Садо тоже вскоре от меня забрали, но я успел узнать от него, что в Ленинграде в феврале 1967 года была арестована большая группа социал-христиан\*. Возглавлял эту группу Игорь Вячеславович Огурцов, человек, по характеристике Садо, очень чистый, мужественный, широко образованный и — главное — верующий.

— Все буквально в этой группе люди верующие и высокоинтеллектуальные, — заверял меня Юрий Юханович. — Брат мой, Михаил, первый помощник Огурцова — востоковед, Платонов — тоже. Незадолго до ареста вернулся из Эфиопии. Николай Викторович Иванов<sup>1</sup> — искусствовед, преподавал в Ленинградском университете. Умница! Ах, какой умница! В Томском университете преподавал политэкономии Владимир Федорович Ивойлов. Михаил Борисович Коносов<sup>2</sup> — поэт, заочник литературного института писателей. Георгий Николаевич Бочеваров<sup>3</sup> — историк. А Вагин? Евгений Александрович — это особенный человек!

Я был потрясен. В России, в шестидесятые годы — военно-политическая организация! Люди, поставившие себе целью восстановление монархии и возрождение истинного православия. Согласитесь, что в XX веке, в советской стране, среди молодежи — это более чем нео-

---

\* См. об этой организации в «Гр а н я х» №80, стр. 142. Биографии И. Огурцова, М. Садо, В. Платонова, В. Ивойлова и И. Вагина см. там же, стр. 142-146. — Р е д.

бычно. Мне не терпелось скорее в лагерь! Хотя бы только затем, чтобы познакомиться с этими людьми.

Но в лагерь я попал не скоро.

Меня бросали не только из камеры в камеру, но и передавали от одного следователя к другому, повезли в институт Сербского на обследование. Всех политических, твердо придерживающихся своих убеждений, на экспертизу возили непременно: такие люди в понимании чекистов и прокуроров были отклонением от нормы. Верующих тоже считали за ненормальных.

Однако по порядку...

Когда я остался один, часа через два появился надзиратель и любезно предложил мне собраться с вещами.

— Пройдемте в другую камеру. Чтоб не было скучно...

В другой сидел студент IV курса историко-архивного института Гавриил Ганушкин. Атлетического телосложения, но с землистым арестантским лицом (позже выяснилось, что он бывший беспризорник и жизнь его была нелегкой). Молодой человек отодвинул тумбочку, на которой лежала стопка исписанных листов, и как-то настороженно проговорил:

— А вы кто? Да? Неужели? — и, помолчав, добавил: — Меня тоже только вчера из другой камеры сюда привели. Нас там трое было. Тут время от времени всех переводят. Перетасовывают. Таким путем подбрасываются «наседки». Вы не «наседка»?

Из месячного совместного жития с Гавриилом я убедился, что вопрос о стукачестве был задан мне не в шутку. Он был убежден, что к нему то и дело подсаживают осведомителей и всё простукивал стены, тщательно осматривал решетки, уверенный, что магнитофон-малютка где-нибудь да запрятан. О деле своем ничего не рассказывал, и только за два дня до нашего расставания он, наконец, поведал мне свою веселую историю о том, как он, служа на действитель-

ной службе в армии в ракетном дивизионе, снимал с ракет платину. В операцию по изъятию платины с ракет стратегического значения и по переводу ее на деньги был вовлечен и офицерский состав, командование дивизиона. Всех их, от рядового солдата до полковника, привезли из далекого Казахстана в Лефортово и они ввали, изворачивались, топили друг друга.

— Меня уверяют, что я — диверсант, — возмутился Гавриил. — Какой я диверсант!? Я за советскую власть. Просто мне нужны были деньги, как и всем тем офицерам.

— Они, наверное, коммунисты? — поинтересовался я.

— Конечно. В ракетном дивизионе служат самые проверенные люди. Мы все — коммунисты.

Платиновая лихорадка затронула не только ракетчиков. В другой камере судьба меня свела с особо проверенным «механиком чрезвычайно засекреченного предприятия». Он возил какие-то новейшие теплоприборы в одну из испытательных лабораторий. По пути, пока вёз, снимал платину. Последняя операция окончилась трагически, хотя и разработана она была классически с точки зрения мошенничества. Собираясь в поездку и явно игнорируя слова песни о том, что перед дальней дорогой надо присесть, он вместо этого позвонил в отделение милиции и предупредил начальника, что сейчас по такому-то маршруту пройдет машина номер такой-то. В ней будет краденое кровельное железо. Прошу, де, мол, принять меры. Желаящий остаться неизвестным — патриот Родины.

Рыба клюет только на червя. Подлецы клюют на любые доносы. Начальник милиции тут же распорядился послать оперативников к шлагбауму. Машину остановили и, несмотря на категорические протесты шофера, что он везет секретный груз (вот у него путевка с красной полосой, «вы будете отвечать» и так далее), машину пригнали в отделение милиции. Там

приказали шоферу вскрыть ящик, что был в кузове. Он, разумеется, отказался. Вскрыли сами оперативники, предварительно сорвав пломбы. Никакого железа не оказалось. В ящике был теплоприбор.

— Произошла ошибка... — признался начальник. — Можете ехать!

— Не поеду! — отрезал Ваня Раздуюев (так звали этого короля надувных дел).

— То есть как это не поедешь? — остолбенел полковник милиции.

— А вот так... Не поеду — и всё. Вы же пломбы сняли. Может, там что подложили... Какая авария будет, а меня потом за задницу... Нет, дураков нема...

— Да ты что, смеешься, сукин сын? Как ты так можешь о милиции думать!?

— Не толкай мякину! Все вы христопродавцы, взяточники и воры. Не поеду — и всё.

Раздуюева посадили в камеру предварительного заключения при отделении милиции. По истечении трёх суток (больше без санкции прокурора держать нельзя) насильно вытащили во двор и хором проскандировали:

— Убирайся немедленно вместе с машиной!

Ваня не убрался. Он снял трубку и позвонил в городское отделение КГБ. Приехали два уполномоченных, похвалили Раздуюева за бдительность, о чем-то долго при закрытых дверях разговаривали с начальником милиции и немедленно вызвали эксперта из министерства машиностроения. Только после того, как эксперт осмотрел прибор и сказал, что всё в порядке, Ваня победоносно тронулся в путь...

Спустя неделю Раздуюева арестовали. Прибор при испытании взорвался. Разнесло лабораторию, инженеры, участвовавшие в пуске, погибли.

— Говорят: причина взрыва — отсутствие платиновых пластин на приборе и замена их какой-то ли-

пой. Но при чем тут я? — ехидно улыбался Ваня. — Один снял пломбу, другой написал акт, что теплоприбор в исправности (он имел в виду эксперта из министерства). — Причём же здесь я?

— Действительно, причём же здесь ты, Ваня! — как бы ничего не понимая, подтвердил я.

— Пусть теперь посидят и начальник милиции, и эксперт, и оперуполномоченные, вскрывшие ящик.

Блюстителей и хранителей действительно посадили, а Ваня целыми днями ходил по камере и убеждал меня, что без миллиона жить невозможно и что он не успокоится до тех пор, пока не будет иметь его.

...Проходили недели, месяцы, а следствие мое вперед не продвигалось. Да, собственно, нечему было и продвигаться. От рукописей своих я не отказывался, от убеждений тоже, а дать желаемые комитету госбезопасности показания об антисоветской деятельности отдельных писателей не мог хотя бы уже потому, что я не знал о такой деятельности. Я уж не говорю об элементарных понятиях совести и чести.

Не сумевшего ничего добиться Хабибулина сменил майор Седов. С ним то и дело являлись на допросы заместитель начальника следственного отдела и городской прокурор.

— Ну что вы упорствуете, Александр Александрович, — уже в который раз повторял майор Седов. — Зачем вам оберегать Бориса Слуцкого?<sup>4</sup> Он — еврей! Сионист. А вы — русский. Ведь мы же знаем, что он антисоветчик. Подтвердите это — и всё. О Твардовском<sup>5</sup> расскажите, что знаете.

— Да я с ним только раз виделся. И то официально, в «Новом мире», как с главным редактором журнала. Со Слуцким тоже знаком весьма поверхностно.

— Ах, Александр Александрович, — вмешался прокурор, — неужели вам не надоело сидеть? Зачем вам всё это? Помогите нам — и вы будете на свободе.



Кончилось тем, что однажды на допрос явился собственной персоной генерал-лейтенант Лялин, возглавляющий Московский комитет безопасности. Эта тучная свинья была предельно откровенна.

— Вот мой партийный билет (он достал из кармана кровавую книжицу). Видите? Если всё расскажете о писателях и о том, каким путем уходят за рубеж рукописи, — завтра же гарантирую вам свободу. Поручкой — этот билет.

Я швырнул в Лялина пепельницей.

К чести генерала, он не испугался и не отправил меня в карцер. Нажал кнопку. И когда вошли два надзирателя, следователь сказал, стараясь казаться спокойным:

— Трое суток вас никто не будет трогать. Отдыхайте и думайте.

Я думал. Но, конечно, не о том, как поступить. Мне почему-то вспомнилось знакомство Алексея Максимовича Горького с шефом жандармов в Москве, когда молодого писателя задержали с антиправительственными листовками и рассказами такого же рода. — «Прочел ваши рукописи, — сказал шеф. — Прелюбопытно. Видно, что вы способный литератор. Отпускаю вас на свой страх и риск. Только потому, что вы способны...» — Через несколько лет, став уже знаменитым писателем, Горький, будучи снова арестован, встретился на допросе с сыном бывшего начальника жандармерии. — «А... Так это вы и есть тот самый Горький, который очаровал моего отца? — улыбнулся молодой офицер. — Папа мой, к сожалению, умер. Но он просил меня передать вам в подарок редкие книги, если мы встретимся. Мы встретились, и я завтра вам эти книги пришлю. Воля отца священна. А я отпускаю вас. Всего вам доброго!»

...По истечении трех суток меня увезли в сумасшедший дом, то бишь, в институт имени Сербского.

По этому поводу у меня сохранились такие стихи:

Куда попал? Здесь всё не ново.  
Москва — давно сплошной Содом.  
Здесь за одно живое слово —  
Дорога в сумасшедший дом.  
И бесполезно, бесполезно  
Потом твердить: мол, я здоров.  
...Есть на Арбате дом облезлый  
С великой кучей докторов...

Институт действительно обшарпанный. Штукатурка отваливается, потолок вот-вот рухнет, грязь, теснота. Канализация работает с перебоями. Воды то и дело нет. Ни лечения, ни питания, ни правильной диагностики. При всем при том уйма докторов, доцентов и профессоров, лиц с мировыми именами. Профессора Лунца<sup>6</sup>, например, знают далеко за пределами России.

Невысокого роста, подслеповатый и плюгавенький, не вынимающий изо рта сигареты, он раз в неделю в сопровождении безмолвного медицинского эскорта обходит экспертируемых. Задаёт каждому по одному-два вопросика, вроде: «Ваш любимый литературный герой?», «А что вы скажете об Алеше Карамазове?», «Как вы понимаете дьявола?» И подписывает, подписывает. Без конца подписывает всякие справки и заключения.

Я как-то сказал ему:

— Как же вы можете, профессор, мириться с тем, что ваших больных не бреют, бельё дают рваное, кормят плохо, на прогулки пускают от случая к случаю...

— Это не имеет отношения к делу! — сморщил нос Лунц.

Вот как? Оказывается, в больнице отношение к больному не имеет отношения к делу. А великие медики, сколько мне помнится, утверждали, что врач начинается с отношения к больному.

Говорят, что некоторые из гитлеровских врачей принимали непосредственное участие в отравлении,

убиении и сжигании в душегубках политических заключенных и пленных. Чудовищно: но лунцы заведомо больных людей в институте Сербского признают здоровыми, а здоровых — по указаниям чекистов отправляют на «вечную койку» в Казань или в Ленинград.

Кандидат физико-математических наук Григорий Ружицкий, арестованный за распространение в советской стране изданных за рубежом книг Синявского и Даниэля\*, рассказывал мне в этом самом институте, куда его тоже привезли на экспертизу:

— Здесь до вас только что была Русская партия\*\*: кандидаты, доктора наук... большие эрудиты. Их всех признали шизофрениками только потому, что у них твердые непоколебимые убеждения против советской власти и коммунистического учения в целом. Я не разделяю целиком их платформы. Они все — антисемиты. Еврей по национальности, я не могу смириться с антисемитизмом. Но признание их всех сумасшедшими — это изуверство... Смотрите, чтоб и вас не отправили в Казань... Туда, на островок, в бывший монастырь свозят самых опасных политических.

Разумеется, я учел это предостережение и на комиссии огласил развернутое письмо медикам института имени Сербского, доказательно обвинив их в отступлении от медицинского долга, и дал понять, что от возмездия они не уйдут так же, как не ушли фашистские изверги в белых халатах.

По-видимому, письмо произвело впечатление. После комиссии меня немедленно, через какой-нибудь час, увезли в Лефортово. Этому отчасти сопутствовало то обстоятельство, что в нашем отгороженном от всех других больных отделении было обнаружено при

---

\* См. его биографию в «Гранях» № 80, стр. стр. 148 — Ред.

\*\* Не смешивать эту организацию с Социал-христианским союзом, членов которого в некоторых документах Самиздата ошибочно причисляли к Русской партии. — Ред.

обыске открытое письмо лидера Русской партии кандидата философских наук Антонова<sup>7</sup> — жене Даниэля, Ларисе<sup>8</sup>, тоже находившейся в ту пору под следствием в связи с участием в демонстрации на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию. Письмо это было не столько антисоветским, сколько антисемитским. Смысл его таков: не лезьте, евреи, в наши сподвижники в борьбе с коммунизмом. Вы сами устанавливали советскую власть. Вы отравили русский народ ядом материализма, вы без конца мутили воду в мире. Сегодня, почувствовав неизбежный и скорый крах социалистической системы, непопулярность учения марксизма, вы стали по эту сторону баррикад. Вы хотите опять светлыми выйти из воды и погреть руки на русской крови, стать как бы направляющей силой народов, отстоять первенствующее место избранной нации. Не выйдет! Лариса Даниэль, не сойдет! Мы сами добьемся своего освобождения!..

Я не уверен, что письмо это, очень спорное, но безусловно эмоциональное и страстное, широко аргументированное и написанное человеком, не лишенным литературных способностей, дошло до жены поэта, но то, что оно попало в руки руководства этого мрачного дома, а стало быть, и чекистов, — сомнения нет. Григория Ружицкого, у которого письмо было изъято, тоже выбросили из больницы без промедления. Этот милый чудаковатый физик являл собой образец кротости и скромности. Влюбленность его в книги, в правдивое слово, в литературу Самиздата трогали до умиления.

Когда я его спросил: — Извлекали ли вы, Гриша, какую-нибудь материальную выгоду из распространения запрещенной литературы, — он обиделся:

— Как можно! Я это делал потому, что не мог не делать! Я даже во имя этого занятия физикой оставил. Что физика? Сейчас наступил такой период, когда на-

ука уже работает во вред людям. Нужно правдивое слово, необходимо возродить Дух науки.

На грани суда, он и сейчас охотился за новыми запрещенными произведениями, собирал материалы об их авторах. Он буквально заставил меня записать ему несколько стихотворений из того цикла, что находился у чекистов.

— Эти стихи должны читать люди. Непременно должны. Я вот попробую одни из них переложить на музыку. — Он пробовал свои силы и в композиторском искусстве.

— А антисемитское письмо Антонова? — поинтересовался я не без хитрости.

— И его должны знать человеки! Потому и хранил. А как же! Вот увидите: я всё равно это письмо снова буду иметь! Так же, как я имею Одессу!

Где вы сейчас, милый Гриша? И какой срок вы получили? И не имеете ли вы вместо Одессы Мордovie, или Коми АССР?

...Судили меня на Рождество по старому стилю. Конечно, на закрытом заседании. Кроме Загрязниной, передавшей мои рукописи в КГБ, кроме моей дочери, по чистоте души своей признавшейся, что слушала мои стихи, и многочисленного конвоя, — никого не было. Еще два субъекта из комитетчиков присутствовали. Разумеется, в штатском, разумеется, безмолвно, но дух их витал над прокурором и над судейскими креслами. Я говорю — «креслами», потому что впечатление было такое, что судят не люди, а кресла. От адвоката я отказался. Придя за день до суда в тюрьму, пожилая женщина с большими желтыми зубами, ярко накрашенными губами и толстой папиросой во рту (это был адвокат) сказала мне:

— Рекомендую вам признать вину... Меньше дадут. А зачем вам больше? Судить вас будет умнейшая женщина. Молодая, красивая. Получите эстетическое

удовольствие. — И, глубоко затянувшись, с сожалением добавила: — Не понимаю, зачем вам потребовалось связываться с этой стервой, с Загрязкиной этой...

Действительно: зачем?

С Еленой Борисовной я познакомился в редакции православного журнала, издаваемого Московской патриархией. Пришел к главному редактору. Его не было.

— Может быть, я могу его в какой-то степени заменить? — деловито спросила стройная, с постным лицом женщина в очках с оправой под золото, вышедшая из соседнего кабинета.

— Вы сотрудник редакции? — поинтересовался я.

— Да.

Мы познакомились. Елена Борисовна, лет за сорок, произвела впечатление женщины умной, скромной, образованной. В разговоре она заметила, что в свое время три года тоже оттянула арестантскую лямку. Реабилитирована, но страдания не прошли для нее бесследно. Возвращаться в мир она не хочет, решила посвятить себя Богу и служит вот (я обратил внимание на слово «служит») в редакции.

— Я закончила институт иностранных языков и занимаюсь тут переводами. Очень люблю литературу и была бы рада познакомиться с вашими произведениями.

Ничего утвердительного я ей не ответил, но адрес оставил. Несколько раз мы созванивались. В конце июня 1968 года Елена Борисовна предложила мне побывать в церкви, в которую ее назначили старостой. Я пообещал.

— Захватите с собой ваши новые работы. Очень меня обяжете. Через два-три дня я верну. Как ехать? Сядете около «Детского мира» на тринадцатый троллейбус.

Я очень не люблю тринадцатое число. И, признаюсь, — побаиваюсь его. Но поехал, и рукопись отдал. Невозможно объяснить, почему кролик лезет в пасть

удава. Нельзя логически объяснить, почему человек, который всем своим существом понимает, что делает глупость, всё-таки делает ее.

Уже выйдя из церкви, я был убежден, что рукописи мои попадут чекистам, но не вернулся за ними и не взял их. Позвонив назавтра несколько раз на квартиру Загрязниной, я понял, что не дозвонюсь и что к телефону квартиры, где я остановился, подключены чекисты. Но я всё равно продолжал звонить и звонить... Не получив рукописи через четыре дня, я поехал в церковь, уверенный, что Елены Борисовны там не будет.

Монашка, торгующая свечками, сказала:

— У старосты несчастье. Получила телеграмму, что при смерти ее тетка. Срочно уехала. Будет на следующей неделе.

Я понимал, что это чекистские штучки. За мной следят и меня арестуют вот-вот... И всё-таки убеждал себя, что этого быть не может. Поэтому начало повести, где я написал, что не думал об аресте, — ложно. «Мысль изреченная есть ложь»\*. Где это я читал? Кажется, в Евангелии...

Допрос начался с Загрязниной. Она вошла... Нет, она не вошла! — вползла в зал бесшумно, как змея. Змея, завернутая в прекрасную доху, в дорогой колонковой шапочке на голове. Ни на мою дочь, ни в мою сторону она не посмотрела.

— Подойдите ближе... — сказала судья.

Загрязнина сделала шаг вперед.

— Еще ближе.

Она сделала шаг еще.

— Фамилия? Говорите громче! — резко предложила председательствующая. — Образование? Где работаете? Возраст? — И вдруг, как выстрел: — Вы верующая?

---

\* Ф. Тютчев, стихотворение «Silentium». — Р е д.

— Да... конечно... — прошептала Загрязнина.

Я поздравил Елену Борисовну с Рождеством. И пожелал всего доброго. Она поблагодарила. Потом спросил:

— Елена Борисовна, здесь сидит моя дочь. Она выросла без меня. Я только-только с ней увиделся, отсидев, как вы знаете, двадцать лет. Вы считаете себя верующей. Сами отбыли там три года. Как же всё это вяжется с вашим поступком? Почему вы отнесли рукопись в ЧК, а не возвратили ее мне?

В зале минуто — не менее — стояла тишина. Её не нарушали ни прокурор, ни судья.

Наконец, раздался шип:

— Во-первых, я не чекистам отдала рукопись, а уполномоченному по делам православной церкви при Совете министров. Я должна была это сделать, чтобы не запятнать Церковь. На православную Церковь и так большое гонение. Ее подозревают в антисоветчине. Ваши произведения очень... очень... как бы это сказать? Нелояльны... что ли... Я — официальное лицо... Я боялась за Церковь, но я не думала, что это так плохо кончится для вас...

— У меня больше нет вопросов к свидетелю, — сказал я судье Яковлевой. Миловидная женщина, остриженная под мальчика, понимающе улыбнулась и отпустила Загрязнину в церковь. Шла рождественская служба, и староста в начале судебного заседания попросила отпустить ее быстрее.

Алешка подтвердила, что слушала мои стихи, но не понимает, в чем мое преступление:

— Судить за стихи? За правду? Ведь отец мой написал правду... Это безобразие. Безобразие! Я буду жаловаться.

Милое дитя, она ничего не понимала, несмотря на университетское образование. Прозрение пришло к ней только здесь, на суде.



Прокурор произнес длинную речь. В ней то и дело слышались чугунные слова: идеология, идеологическая диверсия, классовая борьба...

И резюме: «Прошу семь лет».

Разумеется, я не признал своей вины. И сказал на суде всё, что думаю о нем, о следствии, о том, что давно уже я пришел к заключению, что самый лучший агитатор против советской власти — сама советская власть. Высшей наградой за мою обличительную речь были слова дочери. Алешка на весь зал крикнула:

— Молодец, папка!

К камере, в которую меня увели в ожидании приговора, то и дело подходили конвойные солдаты. Одни просили на память стихи, другие рассказывали о том, как их подняли в Москве по тревоге перед вводом войск в Чехословакию и как почти все они не хотели стрелять в чехов. Иные предлагали закурить, совали сигареты, продукты.

Нет, это уже не был конвой времен Сталина. Это были уже совсем другие солдаты. И автоматы их смотрели не на меня...

Суд внял требованиям прокурора. Не отрывая глаз от приговора, Яковлева огласила мне семь лет и тут же ушла. Ей было стыдно, я понимал это, но что она могла сделать? У нее не было тех прав, которыми располагал присяжный царский суд, оправдывая Веру Засулич, стрелявшую в петербургского градоначальника. У Яковлевой, как и у советского суда, не было вообще никаких прав. И суда никакого не было. Крутились жернова государственной машины. И всё, что бросалось под эти жернова, перемалывалось.

Кассационной жалобы я писать не стал. И через несколько дней, после получасового свидания с Алешкой, которая всё порывалась разыскать Загрязнину и плюнуть ей в лицо, от чего я, понятно, всё-таки отговорил дочку, — ушел на этап.

Меня ждала Мордовия.

Когда-то сюда стекались паломники. Верующие всей России шли в знаменитую Саровскую пúстьнь, чтобы помолиться Богу. Теперь со всех концов государства великого сюда свозили политических арестантов. Это была земля смерти. Это была земля спасения. Здесь умирали и рождались. Здесь слепли и прозревали. Тут злобились и учились любить. Для одних это была могила, для других — школа, университет. Для некоторых — академия.

Я ехал в академию. В Духовную Академию.

*(Продолжение следует)*

## ПРИЛОЖЕНИЕ: БИОГРАФИИ

<sup>1</sup> ИВАНОВ Николай Викторович (р. в 1937) — искусствовед, преподаватель ЛГУ. Арестован по делу Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. 5 апреля 1968 г. на суде в Ленинграде не признал себя виновным и был, вместе с другими, присужден к 6 годам лагерей строгого режима (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 3, а также «Посев» 1/71, стр. 38). Срок отбывает на 17 л/о Дубровлага; участвовал в коллективном протесте «против недоброкачественной пищи» в октябре 1970 г., после чего на 2 месяца был отправлен в БУР (см. «Посев. Спец. выпуск» 2/69, стр. 23); вместе с другими голодал 10-12 сентября 1971 г. в знак протеста против издевательств над родственниками заключенных (незаконное сокращение личных свиданий, передач и т. п., см. «Хронику текущих событий» № 22).

<sup>2</sup> КОНОСОВ Михаил Борисович, 1937 г. р., слесарь Ленгаза, поэт, заочник Литературного ин-та им. Горького в Ленинграде. Арестован по делу Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. 5 апреля 1968 г. на процессе в Ленинграде признал себя виновным, но не раскаялся и был, вместе с дру-

## БИОГРАФИИ

гими, присужден к 4 годам лагерей строгого режима (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 13, а также «Посев» 1/71, стр. 38). Срок отбывал на 17 л/о Дубровлага. Освобожден по истечении срока. В феврале 1971 г. прописан в г. Луге Ленинградской области.

<sup>3</sup> БОЧЕВАРОВ Георгий Николаевич, 1935 г. р., инженер-экономист. Арестован по делу Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа. 5 апреля 1968 г. на процессе в Ленинграде признал себя виновным, но не раскаялся и был, вместе с другими, присужден к двум с половиной годам лагерей строгого режима (см. о нем: «Посев. Спец. выпуск» 1/69, стр. 13, а также «Посев» 1/71, стр. 38). Срок отбывал на 17 л/о Дубровлага. Освобожден по истечении срока.

<sup>4</sup> СЛУЦКИЙ Борис Абрамович родился 7. 5. 1919 в г. Славянске (Донбасс) в семье служащего. В 1937-1941 учился в Московском юридическом ин-те и одновременно в Литературном ин-те им. М. Горького, после окончания которого в июне 1941 добровольцем ушел на фронт. Член КПСС с 1943. Награжден тремя орденами. В 1948-1952 работал для Всесоюзного радио. Первые стихи Слуцкого были опубликованы в 1941. Вновь стал печататься в 1953. В 1957 вышел сборник его стихов «Память». Позже были опубликованы две его книги: в 1961 — «Сегодня вечером» и в 1964 — «Работа». Б. Слуцкий также автор критических статей, рецензий и переводов с польского, немецкого, английского и др. языков.

Но публикация произведений давалась ему нелегко, и многое Слуцкий писал «в стол». Вот как свидетельствует о нем Е. Евтушенко в своей «Автобиографии рано созревшего человека» (Лондон, 1963):

«...Несмотря на свои 35 лет, он (Б. Слуцкий — Ред.) еще не был членом Союза советских писателей. Он жил неизвестно на что, подрабатывая писанием коротких скриптов для радио. ...Он жил в малюсенькой комнатухе и питался дешевыми консервами и кофе. Но его стол был весь завален горькими,

строгими, иногда бодлеровскими стихами, которые он не предлагал ни одной редакции, чтобы не терять попусту времени.

Всегда окруженный молодыми поэтами, он передавал им свою веру в завтра.

Однажды я пожаловался ему на то, что мои лучшие стихи отказались печатать. Он молча указал мне на заваленный рукописями стол и добавил: 'Я весь продырявлен пулями. Я боролся на фронте не для того, чтобы мои стихи скоплялись на столе. Но я убежден, что это изменится. Наш день приближается. Надо, чтобы у нас что-нибудь было в сердце и на столе для этого дня!'

«Некоторые из стихов Слуцкого все-таки были опубликованы. Многие из его произведений продолжали наткаться на препятствия цензуры, но они ходили по рукам, передавались из уст в уста, и это лишь способствовало росту его популярности» (см. «Грани» № 55/1964, статья А. Чемесовой, стр. 147).

В подтверждение этого стоит напомнить, что в «Гр а н я х» № 47 за 1960 г. в «Тетради стихов из России» опубликованы, без упоминания имени, стихи Б. Слуцкого (см. стр. 6-15). Кроме того, его стихи были помещены в подпольном журнале «Сфинксы», Москва, июль 1965 г. (см. «Гр а н и» № 59, стр. 55-56)

<sup>5</sup> ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович родился в 1910 в деревне Загорье Смоленской губ., в семье крестьянина-кузнеца. В 1939 окончил Московский ин-т истории, философии и литературы. Член КПСС с 1940. Член Верховного совета РСФСР в 1947, 1951 и 1959. Член Союза советских писателей с 1954 и секретарь его с 1959; кандидат в члены ЦК КПСС с 1961 по 1966. Член Комитета ленинских премий по литературе и искусству. Главный редактор журнала «Новый мир» с 1958 по 1970. Награжден орденом Ленина и другими орденами и медалями; получил Ленинскую и три Сталинские премии.

С 1924 стал печатать стихи и заметки в смоленских газетах. Первые поэмы — «Путь к социализму» (1931) и «Вступление» (1932); в 1936 — «Страна Муравия» о «великом социалистическом переломе в деревне» — о колхозной жизни, «сказочном мужицком рае». Военный корреспондент в 1939 (при занятии

## БИОГРАФИИ

Восточной Белоруссии), в 1940 (в Финскую войну) и 1941-45 (Вторая мировая война). В эти годы создал поэму «Василий Теркин». Затем следуют — поэмы «Дом у дороги» (1946), «Жестокая память» (1951) и ряд стихотворений, очерков, рассказов («Родина и чужбина» и другие). В 1953-56 — отдельные главы поэмы «За далью — даль», в которой поэт создает иронический яркий образ непогрешимого Сталина, а также встречу свою с другом, возвращающимся из концлагеря. В 1963 публикуется поэма «Василий Теркин на том свете», в первой редакции так и не увидевшая света.

После «рая мужицкого» постепенно появляются строки «правды сущей, правды, прямо в душу бьющей, да была б она погуще, как бы ни была горька» (Стихотворения и поэмы, т. 2, 1954, стр. 92). Так поэт переходит от безоговорочного одобрения КПСС к крайнему ревизионизму, ярким представителем которого он остался до конца дней своих. Огромной заслугой Твардовского было опубликование в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича» и других рассказов А. И. Солженицына. Когда началась травля Солженицына, Твардовский мужественно его защищает. В частности, см. его письмо от 7-15 января 1968 г. к первому секретарю Союза советских писателей Федину (см. «Посев» № 10/1968, стр. 6-10). После этого начинается травля и самого Твардовского, принудительная, дважды проведенная реорганизация редакции журнала «Новый мир», что вынудило уже больного Твардовского 13. 2. 1970 уйти с поста главного редактора журнала (см. «Посев» № 3/1970 стр. 14-15). Написанная в эти годы поэма «По праву памяти» не была опубликована в официальной прессе. Набор ее для «Нового мира» был по требованию цензуры рассыпан и отдельные главы поэмы попали через Самиздат за границу (в частности, см. «Посев» № 10/1969, стр. 52-55, в котором они опубликованы).

Отстранение Твардовского от его любимого дела ускорило его конец. Умер А. Т. Твардовский 18. 12. 1971 г.

В «Поминальном Слове», написанном «К девятому дню», А. И. Солженицын отмечает:

«Есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано — отнять его детище, страсть, его журнал. Мало было

шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырем. Только бы продержался журнал, только бы не прервалась литература, только бы печатались люди и читали люди... Помню, как на фронте солдаты все сплошь отличали чудо чистозвонного «Тёркина» от прочих военных книг. Но помню и как армейским библиотекам запретили подписываться на «Новый мир», и совсем недавно за голубенькую книжку в казарме тягали на допрос...

Надо совсем не знать, не понимать последнего века русской истории, чтобы видеть в этом свою победу, а не просчет непоправимый. Безумные!..» (См. «Посев» № 1/1972, стр. 64).

(Отдельные данные взяты из БСЭ, т. 42, стр. 37, 1956 г.; Антологии русской советской поэзии 1917 — 1957, Москва, 1957, стр. 755; *Prominent Personalities in the USSR, USA 1968*, p. 646).

<sup>6</sup> ЛУНЦ Даниил Романович — доктор медицинских наук, профессор. Заведующий отделения спецпсихоэкспертизы Центрального научно-исследовательского института судебной психиатрии им. В. П. Сербского. Редактор (вместе с Я. М. Калашником) книги «Судебная психиатрия: учебник для средней школы», Москва, Госюриздат, 1958 г. Автор брошюры (выпущенной массовым тиражом в изд-ве «Знание», Москва, 1970 г.) «Советская судебная психиатрия», отрывок из которой «Организация и проведение судебно-психиатрической экспертизы» дан приложением к сборнику «Казнимые сумасшествием» (изд-во «Посев», 1971 г.). Установил: «невменяемость» В. Буковского в 1963 г. и его же «вменяемость» в 1967 г.; «невменяемость» А. Добровольского в 1964 г. и его же «вменяемость» в 1967 г.; дважды — «невменяемость» П. Григоренко; «невменяемость» Н. Горбаневской, В. Файнберга, В. Кузнецова и многих других.

<sup>7</sup> АНТОНОВ Михаил Федорович, архитектор. В марте или апреле 1968 г. был арестован в Москве по одному делу с экономистом А. А. Фетисовым и архитекторами В. Быковым и О. Смирновым. Все были обвинены по ст. 70 УК РСФСР. Судебно-психиатрическая экспертиза признала всех «невменяемыми» и поместила в спецпсихобольницы в Ленинграде и Казани.

## БИОГРАФИИ

Группа пропагандировала идеи «деиндустриализации Европейской части СССР, перенос промышленности и массовое переселение рабочих в Сибирь, восстановление патриархально-общинных порядков на территории Европейской России»; группой предусматривались также «дезурбанизация и возвращение к сельской общине» (см. «Посев. Спец. выпуск» 2/69, стр. 13). Журнал «Вече», редактируемый В. Осиповым, в первых трех номерах поместил работу М. Антонова «Учение славянофилов — высший взлет народного самосознания в России в доленинский период».

<sup>8</sup> БОГОРАЗ-БРУХМАН Лариса Иосифовна род. 8. 8. 1929 г. в Харькове. Кандидат филологических наук. В 50 г. вышла замуж за Ю. Даниэля. 11. 3. 51 г. родился их сын Александр. До ареста жила с семьей в Москве и работала старшим научным сотрудником Всесоюзного научно-исследовательского института технической информации, классификации и кодирования. Активно участвовала в защите арестованного мужа (см. «Белую книгу по делу А. Синявского и Ю. Даниэля». Изд-во «Посев», 1967 г.). Неоднократно выступала в защиту осужденных Ю. Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского и В. Лашковой, подписывая коллективные письма в разные инстанции. Во время суда над ними 11. 1. 1968 г., вместе с Павлом Литвиновым, обратилась к мировой общественности, протестуя против нарушений судом «важнейших советских правовых норм» и требуя освобождения подсудимых (см. «Процесс цепной реакции». Сборник документов по делу Ю. Галанскова, А. Гинзбурга, А. Добровольского и В. Лашковой. Изд-во «Посев», 1971 г.). Выступала в защиту Анатолия Марченко и своей сестры Ирины Белгородской (см. А. Марченко. «Мои показания»: Приложение документов по «делу Марченко» и краткую запись процесса над инженером Ириной Белгородской. Изд-во «Посев», 1969). Неоднократно писала письма и подписывала коллективные письма в защиту арестованных и преследуемых, боролась против грубых незаконных преследований инакомыслящих, добивалась соблюдения прав, гарантированных конституцией. 22. 8. 68, на следующий день после вторжения

советских войск в Чехословакию, заявила дирекции института о том, что объявляет забастовку в знак протеста против оккупации ЧССР, а 23. 8. 68 передала в профком и дирекцию своего института письменные заявления о своей забастовке. 25. 8. 68 участвовала в демонстрации протеста против ввода войск в ЧССР, за что была арестована и при аресте избита. Суд 9-11. 10. 68 г. приговорил ее к 4 годам ссылки. (См. Н. Горбаневская. «Полдень». Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. Изд-во «Посев», 1970 г.). Ссылку отбывала в Якутской области. Работала на лесокombинате подручным столяра и такелажницей. По месту ссылки неоднократно подвергалась допросам, обыскам, изъятию личной переписки и самиздатовских материалов. В июне 70 г. отказалась участвовать в выборах в Верховный совет, за что была лишена условно-досрочного освобождения. В октябре 69 и январе 70 г. обратилась к депутатам Верховного совета с критическими замечаниями по тексту исправительно-трудового законодательства (см. «Посев. Спец. выпуск» 9/71). По сведениям иностранной прессы, была условно-досрочно освобождена из ссылки в декабре 1971 года и отправлена в Калугу по месту жительства своего мужа Ю. Даниэля (после его выхода из лагеря).



## Три темы по Достоевскому

(к 150-летию со дня его рождения)

### МОТИВ ЖАЛОСТИ В ПОЭТИКЕ ДОСТОЕВСКОГО

#### 1

О Достоевском написано такое множество книг, что теперь, в столетие со дня его рождения, когда мы его поминаем, кажется, что нового уже ничего и нельзя написать — будто всё уже высказано.

И всё-таки: Достоевский — философ и душевед, социолог и публицист, Достоевский-художник — все эти различные грани творческого гения вряд ли и посейчас рассказаны до конца.

И когда мы хотя бы бегло просмотрим библиографию по Достоевскому в свете этой его многогранности, то отыщем, наверное, если не «белые», то бледные пятна сравнительно мало еще исследованных мест.

Увы! чаще всего они касаются как раз самой, казалось бы, важной ипостаси Достоевского — Достоевского-художника.

---

Одновременно с этим номером «Граней» эта работа выходит отдельной брошюрой со вступительной статьей Л. Ржевского — «Юбилейное» в изд-ве «Посев». — Ред.

Потому что ведь и Достоевский-философ, и Достоевский-социолог тем, главным образом, и значительны, что представлены творческим словом великого мастера. Достоевский-психолог, «реалист в высшем смысле», как он сам себя называл, — не автор труда по криминологии, но художник, написавший роман «Преступление и наказание», в котором, как говорил Пастернак, «присутствие искусства потрясает больше, чем преступление Раскольникова».

Но вот как раз работ, которые занимались бы изучением творческого слова Достоевского, его текстов с художественной стороны, его мастерства, — сравнительно мало.

И кажется, например, что один из самых близких ему мотивов, выражающий некое органическое движение человеческого духа и столь функциональный в его поэтике, освещен совсем еще недостаточно:

Мотив *жалости*.

\*  
\*\*

Самый, вероятно, автобиографический герой Достоевского — князь Мышкин — утверждает в одном из внутренних своих монологов:

«...Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества»<sup>1</sup>.

«Сострадание» и «жалость» — синонимы. В словарях обычно стоит: «*жалость* — чувство сострадания к кому-либо или чему-либо»; «*сострадание* — сочувствие, жалость»... В живом речевом употреблении мы делаем, конечно, смысловые различия, иногда весьма тонкие, но в адекватных значениях предпочитаем менее книжное, более непосредственное «жалость»; «жалость» чаще и охотнее входит в такие, например, экспрессивные сочетания, как «острая жалость», «болезненная жалость», «мучительная жалость» и т. п.

Именно эти определения — «острая», «болезненная», «мучительная» — оказываются наиболее точными, когда мы говорим о жалости у Достоевского.

Говорить же об этом в юбилейные дни — неизбежно, если мы хотим полнее и ярче представить себе облик этого необыкновенного художника и человека.

Ведь само понятие жалости сознательно и целеустремленно дискриминируется различного рода воинствующими материалистами. Солженицын, например, в «В круге первом» рассказывает о том, как происходит это на его родине: «Всё поколение Руськино, — пишет он об одном из заключенных «шарашки», — приучили считать жалость чувством *унизительным*»...

Для Достоевского же жалость, как уже выше цитировалось, была «...может быть, единственным законом человеческого бытия», не переменным и первым соседом любви, основой христианского гуманизма.

Именно поэтому, вероятно, во времена Сталина Достоевский был так обречен на забвение. В годы тридцатые и сороковые «милость к падшим» не призывал никто, и никто не осмеливался написать «Рассказ о семи повешенных», хотя казнимые исчислялись десятками, если не сотнями тысяч. О Достоевском нельзя было читать публичных лекций — автора этого очерка в тридцатые годы не раз приглашали с докладами в московский Институт костного туберкулеза на Божедомке — здание бывшей Мариинской больницы, где родился Достоевский, но прочесть о самом Достоевском ему не разрешили ни разу.

Тоже и позже, когда, после смерти Сталина, начали издавать Достоевского, появились о нем статьи и книги, — тенденциозные авторы их, типа В. Ермилова, Д. Заславского и других, пытались замалчивать, нейтрализовать и даже искажать именно и прежде всего христианское человеколюбие Достоевского<sup>2</sup>.

В русском литературоведении реконструкция облика автора издавна считалась условием верного критического прочтения его произведения. Об этом писал еще Карамзин. «Творец, — писал он, — всегда изображается в творении и против воли своей... Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, надежде, без свидетелей, искренно: *каков я?* ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего».

«Душа и сердце» автора в произведениях Достоевского как раз и доходит до читателя прежде всего — в том сострадании к героям, их несчастьям, надрывам, томлениям, которое так для него характерно. Картины человеческих страданий — описание характеров, бытовых сцен, драматических переживаний и ситуаций в воплощении Достоевского как бы насыщены жалостью сами в себе, как пористое тело какой-либо острою влагой, и мы воспринимаем одновременно и само изображение «жалостного» и жалость как его внутреннюю эмоциональную субстанцию; да, иной раз так и представляем себе, что вот тот или иной характер Достоевский выписывает с искаженным от жалости лицом. Эта его способность вряд ли имеет аналогию не только в русской, но и в мировой литературе. А творческое выражение этой способности — о котором пойдет далее речь — исключительно по многообразию форм и выразительности.

\*\*  
\*

Малоудачно и вводит в заблуждение прозвище «жестокий талант», данное Достоевскому Н. Михайловским. Многие понимают это прозвище как упрек Достоевскому в том, что изображал, главным образом, человеческие страдания. Но тема страдания — традиционная тема русской литературы; «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать» — сказал Пушкин, не Достоевский. Другие видят «жестокость» Достоевского в том мучении жалостью, которому подвергает он читателей, за-

бывая о том, что, муча жалостью, он прежде всего мучится ею сам...

Н. Лосский в книге «Достоевский и его христианское миропонимание» приводит воспоминания о Достоевском А. Врангеля, его сибирского друга, который пишет:

«Всё забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нем особое участие; его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим его; снисходительность Ф. М. к людям была как бы не от мира сего»<sup>3</sup>.

Как природу этой отзывчивости Достоевского биографы отмечают его с детских лет определившуюся острую впечатлительность, рефлексивность. В рассказе-воспоминании «Мужик Марей» образ болезненно-нервного девятилетнего мальчика автобиографичен.

О Достоевском раннего петербургского периода Авдотья Панаева в своих «Воспоминаниях» писала так:

«С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно подергивались»<sup>4</sup>.

«Я был болен болезнью странною, нравственною», — пишет об этих же (сороковых) своих годах сам Достоевский. — «...Я был слишком раздражителен, с впечатлительностью, развитою болезненно».

Собственно — об эмоции жалости как выражении этой впечатлительности Достоевский, уже пожилым совсем человеком, в 1875 году, пишет жене, Анне Григорьевне:

«Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг, бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача... Эта книга, Аня, странно это, — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!»

В письме идет речь о случае, когда Достоевский на богослужении впервые (ему было тогда 8 лет) услышал чтение о страданиях Иова. Позже он расскажет об этом в романе «Братья Карамазовы» устами старца Зосимы:

«...Вышел на средину храма отрок с большою книгой...и начал читать... ..И предал Бог своего праведника, столь им любимого, диаволу, и поразил диавол детей его, и скот его, и разметал богатство его... ..И разодрал Иов одежды свои и бросился на землю, и возопил: 'Наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в землю, Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века!' Отцы и учителя, пощадите теперешние слёзы мои — ибо всё младенчество мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда детскою восьмилетнею грудкой моею... ..С тех пор... и не могу читать эту пресвятую повесть без слез»<sup>5</sup>.

Биографы-исследователи Достоевского считают, что этой его болезненной чуткости способствовали семейные впечатления детских лет: тяжкий характер отца, безответность матери, бывшей в глазах детей жертвой. Л. Гроссман в своей книге о Достоевском в серии «Жизнь замечательных людей» приводит выдержки из писем Марии Федоровны Достоевской мужу в ответ на обвинения в неверности. Есть нечто в трогательности их и стиле, что, кажется, повторится затем в языке некоторых «кротких» из произведений самого Достоевского, так же откликаясь в душе читателя жалостью. В таких строках, например:

«Любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким подозрением, тогда как я дышу моею любовью. Между тем время и годы проходят, морщины и желчь разливаются по лицу, веселость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной, страстной любви моей... Прости мне, что пишу рез-

кую истину чувств моих. Не клянусь, не ненавижу, а люблю, боготворю тебя и делю с тобой, другом моим единственным, всё, что имею на сердце»<sup>6</sup>.

Л. Гроссман думает, что именно в связи с горькой участью матери перед будущим писателем-гуманистом вставала, как он выражается, «проблема неповинного страдания, незаслуженного мучительства», в результате чего «основой творческой мысли Достоевского стала этика»<sup>7</sup>.

Непременным и живым звеном этой этики была *жалость*.

Как известно, Достоевскому суждено было вынести еще многое: арест, инсценировку смертной казни, которая — я имею в виду приготовления — осужденным представлялась отнюдь не инсценировкой, но реальностью: «Почти все приговоренные, — вспоминал потом Достоевский, — были уверены, что он (приговор — Л. Р.) будет исполнен, и вынесли по крайней мере десять ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти». А затем, в течение четырех лет «мертвого дома», Достоевский оказывается в самой гуще людских страданий. Эти четыре года, по его признанию, произвели в нем «перерождение убеждений». Основой творческой его мысли становится теперь не этика вообще, но этика религиозно-философская. Тема «не убий» как часть большой темы «о соблазненных» и тема «о положительно прекрасном человеке» оказываются самыми животрепещущими и близкими.

Мотив жалости — обязательный спутник этих тем.

## 2

Обычная форма творческого выражения жалости у Достоевского, как и у большинства других художников, — прямая экспозиция «жалостного», предназна-

ченная впечатлить читателя зрелищем людского страдания. Есть в «Дневнике писателя» интереснейшее выражение: «оцарапать вам сердце». Прямая экспозиция «жалостного» и выполняет эту задачу.

Можно различить два типа такой экспозиции: экспозиция «от-авторская» — когда сам автор рисует нечто, царапающее нам сердце, и «самоэкспозиция» — когда это делает в монологе или диалоге тот или иной созданный им персонаж. В прозе Достоевского много элементов драмы, поэтому такого рода самораскрытие героя встречается часто. Собственно говоря, этим именно приемом Достоевский и начал: его первый роман, «Бедные люди», и представлял собой форму эпистолярного диалога (монолога — если говорить о главном герое, Макаре Девушкине). Само заглавие романа знаменует призыв к состраданию, столь характерный для так называемой натуральной школы — русского реализма того времени. Д. Григорович в своих воспоминаниях рассказывает, что когда он читал роман Некрасову, они плакали оба. «На последней странице, — пишет Григорович, — когда старик Девушкин прощался с Варенькой, я не мог владеть собой и начал всхлипывать. Я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него тоже текли слезы»<sup>8</sup>.

Всем памятно это окончание романа: Варенька, которую так самозабвенно любит старик Девушкин, вынуждена выйти замуж за своего соблазнителя и уехать из Петербурга. Девушкин болен. Он не представляет себе, как сможет пережить ее отъезд и свое одиночество. В последнем его письме не только отчаяние — здесь звучат нотки почти безумия:

«Маточка, Варенька, голубчик мой, бесценная моя. Вас увозят, вы едете! Да, теперь лучше бы сердце они из груди моей вырвали, чем вас у меня! Как же вы это! Вот вы плачете, и вы едете?! Вот я от вас письмо сейчас получил, всё слезами закапанное. Стало



быть, вам не хочется ехать; стало быть, вас насильно увозят, стало быть, вам жаль меня, стало быть, вы меня любите!

.....

Я умру, Варенька, непременно умру; не перенесет мое сердце такого несчастья! Я вас, как свет Господень, любил, как дочку родную любил, я всё в вас любил, маточка, родная моя! и сам для вас только и жил одних! Я и работал, и бумаги писал, и ходил, и гулял, ... всё оттого, что вы, маточка, здесь, напротив, поблизости жили.

.....

...ведь никак не может так быть, чтобы письмо это было последнее. Ведь вот как же, так вдруг, именно, непременно последнее! ... Ведь вот я теперь и не знаю, что это я пишу, никак не знаю, ничего не знаю и не перечитываю, и слогу не выправляю, а пишу только бы писать, только бы вам написать побольше... Голубчик мой, родная моя, маточка вы моя!»<sup>9</sup>.

Продолжая хронологически примеры самовыражения «жалостного», нужно назвать монолог Мармеладова в «Преступлении и наказании» с его поистине душевраздирающей кульминацией — темой самопожертвования Сони:

«...И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, так же ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... а я... лежал пьяненькой-с».

И дальше:

«...Придет в тот день и спросит: 'А где дочь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и мало-

летним себя предала? Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?' И скажет: 'Прииди! Я уже простил тебя раз...'»<sup>10</sup>.

Необычен по силе экспрессии, с которой выражены страдание и жалость, — монолог-повесть «Кроткая». В словах рассказчика, жена которого выбросилась с иконой в руках из окна на мостовую, эти страдание и жалость безграничны в нераздельной их слитности: он виноват, он «надорвал ей сердце», как записывает Достоевский в плане повести, она — его жертва, но чья же жертва он сам?..

«...О, пусть всё, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня, вот как давеча, когда стояла передо мной и давала клятву, что будет верной женой! ... Всё мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! 'Люди, любите друг друга' — кто это сказал? чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?»<sup>11</sup>.

\*\*  
\*

От-авторская экспозиция «жалостного» представлена во втором романе Достоевского «Униженные и оскорбленные» — в образах больной и несчастной Нелли, старика Ихменева и драматических связанных с этими образами ситуациях. В «Преступлении и наказании» это — среди прочего — сцена конца Катерины Ивановны Мармеладовой. В «Братьях Карамазовых» — эпизоды с Илюшечкой: его болезнь, «бунт» штабс-капитана Снегирева у постели умирающего мальчика.

Страдания детей воспринимал Достоевский особенно мучительно — «концентрированной» эмоцией жалости в повести «Вечный муж» пронизан рассказ о семи-

летней девочке Лизе, которую этот вечный муж, Трусоцкий, мучит садистски, узнав, что она не его дочь, но — любовника его жены. За словами квартирной хозяйки Трусоцкого, которая об этом мучении рассказывает, ощутима прямо-таки судорога авторского переживания эпизода. Девочка, брошенная и, видимо, больная, пробралась в комнату повесившегося постельца.

«...Я ее поскорей сюда отвела. Что ж ты думаешь, — вся дрожью дрожит, почернела вся, и только что привела — она и грохнулась. Билась-билась, насилу очнулась. Родимчик, что ли, а с того часу и хворать начала. Узнал он, пришел — исципал ее всю — потому, он не то чтобы драться, а всё больше щипится, а потом нахлестался винища-то, пришел, да и пугает её: 'я, говорит, тоже повешусь, от тебя повешусь; вот на этом самом, говорит, шнурке, на сторе повешусь'; и петлю при ней делает. А та-то себя не помнит — кричит, ручонками его обхватила: 'Не буду, кричит, никогда не буду'. Жалость!»<sup>12</sup>.

### 3

Но мотив жалости у Достоевского может быть не только слагаемым в изображении человеческого страдания, в экспозиции «жалостного», но *самостоятельным и активным компонентом* в структуре целого. Тема жалости, например, может быть воплощена в самом облике персонажа, составлять одну из главных — если не самую главную — психологическую его черту.

Так именно и случилось с героем романа «Идиот».

Образ князя Мышкина, как известно, в какой-то мере автобиографичен — Достоевский придал ему не только свою падучую, но и свою способность жалости — прежде всего. Она, эта способность, оказывается почти ведущей в поведении князя. «Сострадание есть

главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества», — думает он<sup>13</sup>. А про отношение свое к Настасье Филипповне говорит:

«Я ее не любовью люблю, а жалостью...»

Жалость в романе «Идиот» не только черта психологической характеристики, но и действенный структурный компонент; вместе с поведением князя жалость определяет и сюжетное движение — решение сюжетного треугольника: князь — Аглая — Настасья Филипповна, например. Речь идет о сцене встречи «трех», которую устраивает Аглая, чтобы вынудить князя «выбрать» одну из двух соперниц. И князь выбирает, руководимый жалостью:

«...обе как помешанные смотрели на князя. Но он, может быть, и не понимал всей силы этого вызова, даже наверно можно сказать. Он только видел перед собой отчаянное, безумное лицо, от которого, как проговорился он раз Аглае, у него 'пронзено навсегда сердце'. Он не мог более вынести и с мольбой и упреком обратился к Аглае, указывая на Настасью Филипповну:

— Разве это возможно! Ведь она... такая несчастная!»<sup>14</sup>.

И другой треугольник: князь — Настасья Филипповна — Рогожин в окончательной развязке романа решен композиционно тоже мотивом жалости. В заключительной сцене — у трупa Настасьи Филипповны, рядом с лежащим в горячке убийцей, сидел князь и «каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провeсть дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его».

Достоевский признавался как-то, что ради этой финальной сцены «... почти и писался и задуман был весь роман». Сцена эта — символически — не апофеоз ли жалости? Героиня мертва; соперники подле — один в горячке, другой безумен; безумный гладит горячечно-

го по волосам и щекам. Кончились страсти — вождение, буйство, ревность, ненависть; угас сам рассудок. Осталась одна лишь всё пережившая *жалость*.

\*\*  
\*\*

Жалость выступает иной раз как *приём* среди прочих авторских средств и форм выразительности: читательская эмоция жалости необходима для более глубокого и острого раскрытия внутренней темы повестуемого.

Так обстоит дело, например, с развязкой истории Шатова в романе «Бесы»: растворенное здесь чувство жалости творчески целеустремленно, так как передает авторское отрицание чудовищности политического убийства.

Шатов решает оставить группу террористов, которых разгадал теперь как «лакеев мысли, врагов личности и свободы, проповедников мертвечины» — по его выражению. Решения разоблачить своих бывших сообщников он не принимает, но Петр Верховенский убеждает других заговорщиков убить его как возможного доносчика: он не терпит Шатова, который когда-то его оскорбил, и, помимо того, хочет кровью этой жертвы скрепить свою «пятерку».

И вот описываются последние часы Шатова. Всё в этом описании построено на контрасте: света и тьмы, воскресения и гибели. Накануне убийства к Шатову возвращается жена. Это возвращение и рождение ребенка наполняют его некой блаженной, немыслимой радостью. Отчасти, вероятно, — и сознание предстоящего разрыва с «пятеркой»: он только сдаст зарытую в парке типографию — и конец! Радуются оба — и муж, и роженица:

«...она уже не отпускала его более от себя, она потребовала, чтоб он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, но всё смотрела на него и улыбалась ему

как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку. Всё как будто переродилось. Шатов то плакал, как маленький мальчик, то говорил Бог знает что, дико, чадно, вдохновенно; целовал у ней руки; она слушала с упоением, может быть и не понимая, но ласково перебирала ослабевшею рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. Он говорил ей о Кириллове, о том, как теперь они жить начнут, 'вновь и навсегда', о существовании Бога, о том, что все хороши... В восторге опять вынули ребеночка посмотреть.

— Marie, — вскричал он, держа на руках ребенка, — кончено с старым бредом, с позором и мертвечиной! Давай трудиться и на новую дорогу втроем, да, да!.. ...»<sup>15</sup>.

Но с «мертвечиной» не было кончено. Читатель всё время помнит, что вот-вот к Шатову должен явиться посланец от пятерки, чтобы идти вместе в парк, где собрались убийцы. И посланец — Эркель — появляется сразу же после приведенного выше разговора. Оба уходят, и контраст между блаженной радостью, которая царит в душе Шатова, и тем, что его сейчас же, сию минуту, ожидает, ощущается читателем всё острее и болезненнее. «Эркель, мальчик вы маленький!» — восклицает Шатов по дороге. «— Бывали вы когда-нибудь счастливы?»

А через несколько минут:

«...трое тотчас же сбили его (Шатова — Л. Р.) с ног и придавили к земле. Тут подскочил Петр Степанович с своим револьвером. Рассказывают, что Шатов успел повернуть к нему голову и еще мог разглядеть и узнать его. Три фонаря освещали сцену. Шатов вдруг прокричал кратким и отчаянным криком; но ему кричать не дали: Петр Степанович аккуратно и твердо наставил ему револьвер прямо в лоб, крепко в упор, и — спустил курок»<sup>16</sup>.



Функция жалости как «приёма» у Достоевского становится особенно отчетливой, когда экспонируемая автором эмоция жалости обращена не к читателю (точнее — не только к читателю), но к тематико-сюжетной ситуации или к персонажу в самом произведении, «интроверсирована», так сказать.

Такого рода структурное назначение жалости находим, например, в романе «Униженные и оскорбленные». Сюжетная ситуация такова: старик Ихменев проклял свою дочь, Наташу, за ее связь с сыном его врага, князя Валковского. И вот рассказчику приходит мысль попросить Нелли, больную девочку, которую он опекает и в семье которой случилось сходное (дед проклял ее мать, и она умерла не прощенной им и несчастной), рассказать при Ихменеве свою трагическую историю, чтобы, пробудив в нем сострадание к дочери, смягчить его сердце и заставить помириться с нею. В сцене большого драматического напряжения Нелли, вся дрожа (с ней после случится припадок), рассказывает о том, как ее дед *опоздал* простить дочь — явился, когда она уже перестала дышать. «...Тогда (рассказывает Нелли — Л. Р.) я подошла к мертвой мамаше, схватила дедушку за руку и закричала ему: 'Вот, жестокой и злой человек, вот, смотри!.. смотри!' — тут дедушка закричал и упал на пол как мертвый...»<sup>17</sup>.

И в этом месте ее монолога происходит то, что ожидалось рассказчиком: старик Ихменев вскакивает и дрожащими руками натягивает на себя пальто — он решил идти к своей дочери. «— Простил! Простил!» — восклицает его жена.

Ту же структурную, обращенную к персонажу функцию жалости находим в сне Раскольникова, где живописуется, как секут и насмерть забивают лошадь. Здесь — можно было бы сказать — экспонируется даже и не мучение живого существа, но *жалость сама*.

И «выговаривает» ее сам собирающийся пролить кровь Раскольников, который видит себя мальчиком и буквально захлебывается этой мучительной жалостью и слезами:

«...Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! Он плачет. Сердце в нем поднимается, слезы текут.

.....

— Эх, ешь те комары! Расступись! — неистово вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. — Берегись! — кричит он и что есть силы огорошивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар рухнул; кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть, но лом снова со всего размаху ложится ей на спину, и она падает на землю, точно ей подсекли все четыре ноги разом.

.....

...бедный мальчик уже не помнит себя. С криком пробивается он сквозь толпу к савраске, обхватывает ее мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы... Потом вдруг вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачками на Миколку»<sup>18</sup>.

Жалость здесь — аргумент *против* пролития крови в том споре «против» и «за», который происходит в душе Раскольникова и о котором автор рассказывает в первых шести главах первой части романа. Встреча с несчастной семьей Мармеладовых, письмо от матери — это было «за» возможность убийства; ужас, почти судороги жалости, которые испытывает во сне мальчик-Раскольников при виде зверски забитой лошадки, — аргумент, который, казалось бы, должен остановить руку Раскольникова-студента, уже протянутую к топору. Так отчасти и есть — очнувшись от страшного сна, Раскольников восклицает:



«— Боже!.. да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой, теплой крови, вламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели?»<sup>19</sup>.

В качестве *аргумента* выступает жалость и в «Бунте» Ивана Карамазова; целеустремленное «мучительство жалостью» передоверено здесь персонажу, и описание детских страданий — в свете проблем теодицеи — имеет целью впечатлить боголюбивого Алешу:

«...Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к 'Боженьке', чтобы тот защитил его, — понимаешь ли ты эту ахиню, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахиня так нужна и создана! ...Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к 'Боженьке'. Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и чёрт с ними, и пусть бы их всех чёрт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.

— Ничего, я тоже хочу мучиться, — пробормотал Алеша»<sup>20</sup>.

И дальше, продолжая свою аргументацию жалостью, Иван рассказывает Алеше эпизод с генералом, затравившим собаками восьмилетнего мальчика.

«— ...Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка!

— Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата»<sup>21</sup>.

\*\*  
\*

Приведенными выше примерами и завершим тему этого очерка — о столь частом мотиве жалости в произведениях Достоевского; — жалости, которая у него не только сопровождает картины человеческих страданий, но оказывается и действенным творческим слагаемым его поэтики. В свете этой действенности раскрывается этическая сторона жалости в понимании и оценке писателя: жалости — или сострадания — как «может быть, единственного закона бытия всего человечества», без которого жизнь немыслима.

## МИСТЕРИЯ СОБЛАЗНА У ДОСТОЕВСКОГО

Иначе — мистерия беса: христианское представление о соблазне как категории Зла есть представление о «бесовском».

Верил ли Достоевский в беса? Видел ли его? Как видел?

Ответы — в верном прочтении творческих его текстов, в которых он преимущественно *поэт*, как сам себя любил называть, в которых скрыт его, авторский, облик и его видение мира.

О методологии изучения Достоевского хорошо — у Альфреда Бема: «Не объяснение творчества через познание жизни, а воссоздание жизни через раскрытие творчества — вот путь к познанию Достоевского...».

\*\*  
\*

Представление о бесе есть представление об одержимости страстями, лежащими за пределами Добра. Страстями интенсивными, более энергичными, чем, например, скудость, как выражена она у пушкинского

или мольеровского Скупого, страстями более агрессивными по отношению к Добру.

Две таких одержимости особенно часты в произведениях Достоевского — безумие самовозвеличивания и любовное вожделение.

Обе охотно сосуществуют.

Соответственно сосуществуют и два беса: *гордости* и *любожестия*.

Можно ли представить себе, что эти две одержимости не были вполне чужды духовному облику самого Достоевского? То есть, что гордость и сладострастие были тем, что сам он в себе преодолевал?

«Достоевский, — пишет Лосский, — ...во сне, в сновидениях..., по-видимому, погружался иногда в царство подлинно сатанинского зла».

А Бердяев утверждал: «В судьбе своих героев он (Достоевский — Л. Р.) рассказывает о своей судьбе, в их раздвоениях — о своих раздвоениях, в их преступном опыте — о тайных преступлениях своего духа».

То есть, значит, не по известному письму Страхова, в котором Достоевский отождествляется со Ставрогиним и Свидригайловым, но на основании, прежде всего, самих творческих тем и образов, которые его занимали и мучили, и их духовных коллизий можно заключить, что и гордость, и сладострастие были для Достоевского творчески гомогенны.

И в сложности своего христианского миропонимания Достоевский ощущал эту гомогенность как агрессию Зла, и бесов — как его, этого Зла, мистериозных носителей.

Это представление о бесе, *видение беса*, чаще абстрактное, умозрительное, но иной раз и визуальное, представлено в его *романах-мистериях*, которые без этого видения мистериями бы и не были.

Тема данного очерка и есть это видение, прослеженное исключительно на творческих текстах.

## «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Религиозно-философская тема этого романа двусловна: «не убий». Не убий не потому лишь, что убийство запрещено заповедью, не потому, что это есть некий категорический императив человеческого общежития, но потому, что по Достоевскому, пролитие крови ближнего органически чуждо человеческой душе, если не прикоснулся к этой душе дьявол.

Прикоснулся ли дьявол к душе Раскольникова?

С этого вопроса начинается мистерия романа.

Термин «мистерия» употреблен здесь в контаминированном значении: и «тайна», и «таинство» (потому что это поистине таинство — неустойчивое равновесие человеческой души в ее притяженности то к Небу, то к Духу зла); и «литургическая драма», мистериозное действие, которое совершается где-то за пределами прямой сюжетной фактуры романа, но ощущается как *тайный язык* автора.

Литературоведы утилитарно-социологического толка не слышат этого тайного языка, не хотят слышать, потому что вообще не признают какой-либо тайны в мироздании.

Но Достоевский этим тайным языком говорит.

И на вопрос: прикоснулся ли дьявол к душе Раскольникова, отвечает положительно.

В записной тетради его к роману есть такая, например, запись: «...тут вдруг выставился характер (Раскольникова — Л. Р.) во всей своей *демонской силе*» (здесь и дальше в цитатах курсив мой. — Л. Р.). В другой записи находим как бы расшифровку этого «демонский»: «...В его (Раскольникова — Л. Р.) образе выражается... мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к ...обществу».

И, наконец, тоже в одной из предварительных записей, приведены слова Раскольникова, которые он должен был произнести: «... из-за чего я это сделал, как я решился, *тут злой дух*».

Но обратимся к тексту романа.

Его мистерия — поединок между Небом и Духом зла в сознании Раскольникова. Зримое драматическое выражение этого поединка — диалоги Раскольникова с Соней. Слова «дьявол» и «чёрт» повторяются в них повсюду:

«...— От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, *дьяволу* предал!...» — говорит Соня (436)<sup>22</sup>. «— ...это ведь *дьявол* смущал меня? а?» — спрашивает сам Раскольников. «— ...я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня *чёрт* тащил» (436-7). «... — *чёрт*-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить...» (438). «... — А старушонку эту *чёрт* убил, а не я...» (438).

Утилитаристы-толкователи романа возразят, что слова «дьявол» или «чёрт» только, мол, фразеология, за которой ничего не стоит. Стоит, разумеется, и «упрощенцам» Достоевского приходится оставить в пренебрежении развязку романа — то место в конце его, где рассказывается, как совершается христианское воскресение героя и бес, овладевший Раскольниковым, оставляет его. В недавно сделанном в Москве по роману фильме эта развязка выброшена, и история Раскольникова кончается явкой в полицию.

Мистерия романа, между тем, имеет и свою завязку, относящуюся к обстоятельствам, при которых бес «гордости, высокомерия и презрения к обществу» входит в смятенную душу Раскольникова. В главке 6-ой первой части романа рассказывается о том, как Раскольников в трактире слышит разговор двух посетителей — студента и офицера, обсуждающих, можно ли убить и ограбить ничтожную старуху-процентщицу во имя более справедливого распределения богатств, лежащих у нее под замком. И он потрясен тем, что именно сейчас, когда возник у него самого зародыш этой проблемы, он слышит ее из чужих чьих-то уст. В тексте стоят слова:

«...Странным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто действительно было тут какое-то предопределение, указание...» (72).

И дальше идет на целую строку многоточие, что у Достоевского редко и в самом романе встречается лишь один еще раз — после признания Раскольников в полицейском участке. Но в сцене признания многоточие сюжетно: оно обозначает угадываемое продление эпизода. А вот целая строка точек после слов «было какое-то предопределение» — недоговоренность, которая как бы завязывает тему-мистерию о соблазне человеческой души Духом зла.

И еще одно место, относящееся к этой завязке: Раскольников случайно подслушивает разговор Лизаветы с мещанами, из которого узнает, *когда* именно старуха-ростовщица будет дома одна. И на основе услышанного принимает решение. В тексте читаем:

«...во всем этом деле он всегда потом склонен был видеть некоторую как бы *странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений*» (69).

«Странность», «таинственность», «присутствие каких-то особых влияний»... Каким упорным упрощенцем Достоевского, лишенным вполне объективности исследователя, надо быть, чтобы закрывать глаза на эти авторские указания!\*

---

\* Впрочем, не все и закрывают, избегая лишь прямого называния. В последней своей книге «Разочарование и крушение Родиона Раскольникова» В. Кирпотин пишет: «Достоевский уловил... *дьявольский соблазн* максималистского и волюнтаристического восстания против мира (стр. 444). — Л. Р.

\*\*  
\*

В романе присутствует и другой бес — бес любо-страстия, которым одержим Свидригайлов — один из самых интересных и недоговоренных персонажей Достоевского. Раскрывается эта недоговоренность отчасти — в содержании свидригайловского сна, в последней фазе его, где крохотная девочка превращается вдруг в горячечном сознании одержимого в младенца-развратницу, пятилетнюю Лолиту (роман Набокова, кстати сказать, почти весь, вероятно, из этого сна и вышел).

Бес гордости и бес любо-страстия — свояки. Где-то у Достоевского в записной тетради: «Нигилизма есть два и обе точки соприкасаются». Один из советских авторов о Достоевском, Анатолий Горелов, говорит о внутренней связи Раскольникова с его «мефистофелем» Свидригайловым, не называя «тайного» этой связи.

Но вне тайного никто еще не объяснил краткую, но такую знаменательную в романе сцену взаимоотношения двух одержимых.

Свидригайлов приходит к Раскольникову:

«—...Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?»

И потом:

«—...Давеча (говорит он — Л. Р.), как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, — тут же и сказал себе: 'Это тот самый и есть!'»

— Что это такое: тот самый? Про что вы это? — вскричал Раскольников.

— Про что? А право, не знаю про что... — чисто-сердечно, и как-то сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов»<sup>23</sup>.

## «ИДИОТ»

Внутренняя тема романа «Идиот» — это *первозначимость христианской любви* в мире душевных человеческих отношений, — той христианской любви, которая, по Достоевскому, есть *любовь-милосердие, любовь-сострадание* к ближнему. Ее представляет в романе князь Мышкин, и ему принадлежит утверждение, которое несомненно является ключом творческого замысла романа: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества», — говорит он.

В структуре романа централен *контраст* любви-сострадания и *животной чувственности*, готовой в своем иступлении и на кровопролитие.

Бесом этой чувственности одержим Рогожин. Контраст Мышкин — Рогожин выдвинут уже на первых же страницах романа, подчеркнут в портретах: «...небольшого роста, ...курчавый и почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами. ...тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку, ...мертвая бледность, ...что-то страстное, до страдания» и т. д. — это о Рогожине. «Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое»... — это о князе.

Контраст: Мышкин — Рогожин воплощен далее в двух образах-символах: *креста и ножа*. Пытаясь укротить своего демона, Рогожин меняется с князем крестами: «... свой тебе сниму, ты носи», — говорит он.

А нож, «простой формы... с оленьим черенком, ...с лезвием вершка в три с половиной» князь тоже видит у Рогожина; дважды берет его в руки, и дважды Рогожин вырывает этот нож у него из рук.

Отрывок этот весьма примечателен:

«Видя, что князь обращает особенное внимание на то, что у него два раза вырывают из рук этот нож,



Рогожин с злобною досадою схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол.

— Ты листы, что ли, им разрезаешь? — спросил князь...

— Да, листы...

— Это ведь садовый нож?

— Да, садовый. Разве садовым нельзя разрезать листы?

— Да он... совсем новый.

— Ну, что ж, что новый? Разве я не могу сейчас купить новый нож? — в каком-то иступлении вскричал, наконец, Рогожин, раздражавшийся с каждым словом»<sup>24</sup>.

Это — тот самый нож, которым — немного спустя — замахивается на князя Рогожин и от которого князя спасает только случившийся в то же мгновение припадок падучей.

Это — и тот самый нож, которым будет зарезана Настасья Филипповна. Когда оба соперника в мрачном рогожинском доме сходятся у постели убитой:

«— Слушай... — спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая, — слушай, скажи мне: чем ты ее? Ножом? Тем самым?

— Тем самым.» (Стр. 689-690).

Слово «соперники» оправдывается не только сюжетно, но и — мистерией соблазна: бес сладострастия в какой-то мере задевает ведь и чисто любящее сердце князя. О «демоне» во внутренних монологах князя повторяется не один раз. Вот, дав Рогожину «еще утром честное слово, что 'не увидит ее'», князь покупает на вокзале билет в Павловск. Тут же бросает его и оказывается на улице, по дороге на Петербургскую сторону, где жила Настасья Филипповна:

«Чрезвычайное, неотразимое желание, почти соблазн, вдруг оцепенили всю его волю. Он встал со скамьи и пошел из сада прямо на Петербургскую сторону» (258). «...Странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более» (263). «...Ведь отрекся же он сам от своего демона...» «О, я бесчестен! — повторял он с негодованием и с краской в лице...» (264).

### «БЕСЫ»

Роман очень сложной структуры: начат как памфлет, окончен — как мистерия. Так определил его сам Достоевский: не употребляя именно этого обозначения, подчеркнул метафизический характер внутренней темы.

В письме к Майкову писал:

«Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, т. е. в Нечаевых, Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверное, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сядет у ног Иисусовых. Так и должно быть»... «Ну, если хотите знать, вот это-то и есть тема моего романа. Он называется 'Бесы', и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней».

Природа одержимости, о которой говорилось в двух предшествующих романах меж строк, здесь названа открыто — природа эта бесовская.

Конкретизируется в смысле зримости и само видение беса, его воплощение.

Ставрогин, главный герой религиозно-метафизической темы романа, канонически верует в беса. И видит его!

В не вошедшей в роман главе «У Тихона» в разговоре Ставрогина с этим архиереем на покое есть такое место:

«— И... вы видите его действительно? — спросил он (Тихон — Л. Р.), то есть устраняя всякое сомнение в том, что это несомненно фальшивая и болезненная галлюцинация, — видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ?»

— Странно, что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам, что вижу, — стал опять раздражаться с каждым словом Ставрогин, — разумеется, вижу, вижу так как вас... а иногда вижу и не уверен, что вижу, хоть и вижу... а иногда не знаю, что правда: я или он... вздор всё это. А вы разве никак не можете предположить, что это в самом деле бес!»

Стоит подчеркнуть: Ставрогин видит беса, так сказать, *трояко*: «вижу... как вас», «вижу и не уверен, что вижу», «вижу... а... не знаю, что правда: я или он...»

Тихон отвечает на это:

«— Бесы существуют несомненно, но понимание о них может быть весьма различное».

И Ставрогин:

«—... я верую в беса, верую канонически, в личного, не в аллегория... А можно ль веровать в беса, не веруя в Бога?»

— О, очень можно, сплошь и рядом, — поднял глаза Тихон и улыбнулся»<sup>25</sup>.

Фрагмент этот очень важен\*, потому что бросает свет на «тайное» самого автора. Повторяю: речь идет не об утверждении Страхова об автобиографичности

---

\* Как и многое другое в этой отставленной главе. Например, замечание хроникёра, рассказчика о событиях в романе, сделанное по поводу ставрогинской «Исповеди»: «Документ этот, по-моему, — дело болезненное, дело беса, овладевшего этим господином» (стр. 44) — Л. Р.

Ставрогина, но — об автобиографичности некоторых его высказываний, отражающих поиски и колебания, характерные для религиозно-философской мысли самого Достоевского; «...Я из сердца взял его», — пишет он о Ставрогине в письме к Каткову.

В мистереи романа Ставрогин — главный бес («зверь из бездны» — называл его Аким Волынский).

Один из важнейших актов этой мистереи разыгрывается в первых двух главах второй части романа.

Обе называются «Ночь».

Ночь — пора, когда действуют бесы.

После беседы с Петром Верховенским, своей «обезьяной», Ставрогин выходит из дому в мрак — «в темный, как погреб, отсырелый и мокрый старый сад. Ветер», — читаем в описании, — «шумел и качал вершинами полуобнаженных деревьев...». «— Благослови вас Бог, сударь, но при начинании лицъ добрых дел», — говорит старый слуга, провожая барина.

И вот в ночи происходят встречи-разговоры Ставрогина.

С Кирилловым (ребенок, с которым Кириллов играет в мяч, увидев Ставрогина, «припал к старухе и закатился долгим детским плачем; та тотчас же его вынесла»). С Шатовым. С Лебядкиным и Хромоножкой. С Федькой Каторжным.

Кроме Хромоножки, все эти образы в той или иной степени — «отражения» Ставрогина. В ночных встречах совершается как бы *эманация зла*.

Особенно во встрече последней — с Федькой Каторжным на мосту. Федька Каторжный — тоже полу-двойник Ставрогина, воплощение его готовности к пролитию крови.

«— Правда, говорят, ты церковь где-то здесь в уезде на днях обокрал?» — спрашивает Ставрогин.

«...— Сторожа зарезал?»

—... Согрешил, облегчил его маненечко.

— Режь еще, обокради еще», — говорит Ставрогин.

\*\*  
\*

Образ Петра Верховенского — ярчайшее по интенсивности выражение одержимости. Сюжетно Петр Верховенский — ближайший «спутник» Ставрогина, воплощение беспощадного властолюбия и презрения к людям.

Достоевский придает ему даже портретные черты *беса*:

«Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется вострым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; глаз вострый, носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие. (Когда он говорит — Л. Р.) ...как-то начинает представляться, что язык у него во рту, должно быть, какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком»<sup>26</sup>.

И в самом деле: именно таким, как угадывает читатель, языком Петр Верховенский в разговоре со Ставрогиным (главка «Иван-царевич») сыплет, захлебываясь, свою жуткую скороговорку — программу устройства будущего:

«—... Все рабы и в рабстве равны. ...не надо высших способностей! ...Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями... В мире одного только недостает: послушания. ... мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве»<sup>27</sup>.

## «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

И наконец — последний роман Достоевского, для этого очерка самый значащий, потому что Злой дух, который лишь угадывался меж строк в «Преступлении и наказании» и «Идиоте», только едва показывался, говоря чужими словами, в «Бесах», — здесь является зримо и говорит сам за себя.

Речь идет о главке: «Чёрт. Кошмар Ивана Федоровича».

Вот портретные черты этого явления чёрта:

«...Это был какой-то господин или, лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых, «qui frisait la cinquantaine», как говорят французы, с не очень сильною проседью в темных, довольно длинных и густых еще волосах и в стриженной бородке клином». «...обратившийся вроде как бы в приживальщика хорошего тона...» «...физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение»<sup>28</sup>.

Бес кошмара Ивана Карамазова!

Но *какого* по природе своей кошмара? Достоевский, как известно, внутренне строит сцену в плане особой, виртуозной диалектики: чёрт — или «двойник» Ивана, что для Ивана, отрицающего Бога, а стало быть, и чертей, весьма удобно; или нечто другое, Злой дух сам по себе, признать которого для Ивана значило бы признать отрицаемое. «— Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак», — кричит чёрту Иван. «— ...Ты воплощение меня самого... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых».

Но припоминается и вопрос Ставрогина Тихону, приведенный в предыдущем очерке, и вопрос этот делает альтернативу еще сложнее и значительней, чем ее обычно толкуют:

«— А можно ль веровать в беса, не веруя в Бога?»  
— спрашивает Ставрогин.

«— О, очень можно, сплошь и рядом», — отвечает Тихон.

И в сцене с Иваном логика чёрта, утверждающего свою суверенность, весьма убедительна:

«—...Кто ж я на земле, как не приживальщик», — говорит чёрт, подчеркивая свою функцию «насельника», то есть временного, но устойчивого обитателя души, пребывание которого в ней и есть одержимость.

«— ...я вот такой ревматизм прошлого года схватил, что до сих пор вспоминаю.

— У чёрта ревматизм?

— Почему же и нет, если я иногда воплощаюсь. Воплощаюсь, так и принимаю последствия. Сатана sum et nihil humanum a me alienum puto.

.....

— А ведь это ты взял не у меня, — остановился вдруг Иван как бы пораженный, — это мне никогда в голову не приходило, это странно...

— C'est du nouveau n'est ce pas?»

И — дальше из монологов беса:

«— ...Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель», — объявляет гость Ивана; и после, среди прочих рассуждений, определяет и сферу свою: «— ...Где станет Бог — там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место... 'всё дозволено' и шабаш!»<sup>29</sup>.

\*\*  
\*

В мистерии «Братьев Карамазовых» — следовало бы добавить — сфера беса не ограничивается, конечно, ночным кошмаром Ивана, она пространнее также и в

структурном отношении. Мистерия этого романа — это хождение по мукам богоборческих поисков и колебаний одной большой человеческой души. Причем не души «вообще», но души русской — той, которую почвенник Достоевский интересовался всю жизнь; не мог не интересоваться в силу философско-религиозной природы своего почвенничества.

Была взыскующей этой душой душа самого Достоевского? — если снова вспомнить Бердяева, который утверждал, что в судьбе своих героев, их сомнениях и раздвоениях, идеалах Содомы и идеалах Мадонны, Достоевский рассказывал о своей собственной судьбе...

Может быть, в этом самом полифоническом из романов Достоевского осуществлено расщепление этой души на четыре ее потенциальные ипостаси, воплощенные, как это обычно у Достоевского, в четыре самостоятельные темы-образа: Дмитрий, Иван, Алеша, Смердяков — Страсти, Разум, Боголюбие, Низость. История каждой из этих четырех ипостасей представляет свою, особую мистерию, и образ беса-искусителя оказывается как бы катализатором, который способствует очищению или разложению этих душ. Поэтому, может быть, в этом последнем и глубочайшем романе Достоевского соблазн потребовал наибольшей полноты активности: бес, хоть и названный только «кошмаром», получил зримое воплощение и заговорил!

## ЯЗЫК РОМАНА «БЕСЫ» И ОБРАЗ АВТОРА

### 1

Роман «Бесы» всё еще недостаточно исследован в части эстетического его прочтения. В прочтениях познавательных — философских и социологических — недостатка не было. Но именно познавательная специ-



фика этого романа, как пишет в своей книге «Как работал Достоевский» Георгий Чулков, «...долгие годы мешала оценить должным образом своеобразие его художественных приемов».

Между тем даже и те из критиков Достоевского, кому философская сторона романа «Бесы» была совершенно чужда, ценили эстетические достоинства этого произведения. «Роман Достоевского отлично сделан технически...» — писал Горький в «Письме к молодым писателям» от 8-го января 1929 года; и в другом месте: «Роман 'Бесы' написан гораздо более четко и менее неряшливо, чем многие другие книги Достоевского, и, вместе с Карамазовыми, самый удачный роман его» (М. Горький «Несобранные литературно-критические статьи»).

Это справедливо прежде всего в отношении *языка* романа, очень мало изученного.

Те наблюдения над языком его, которые предлагаются в данном очерке, сделаны преимущественно в свете *образа автора* — каким этот образ выступает для исследователя из самой повествовательной ткани романа.

Над понятием «образ автора», как известно, долго и плодотворно работал советский академик В. В. Виноградов, считавший, что: «В образе автора, в его речевой структуре объединяются все качества и особенности стиля художественного произведения...»<sup>30</sup>.

В самом деле: уже в словоотборе, в той семантико-стилистической и звуковой тональности слова, которую «поручает» этому слову автор, заключено его, автора, самовыражение, своеобразие его творческого приема и мастерства. Потому-то критические анализы, обходящие слово, бывают иной раз так неполноценны.

\*\*  
\*

В повествовательной ткани романа рассмотрим сначала язык от-авторского сообщения, иначе *язык моно-*

*логический*: затем — язык персонажей, *диалогическую* речь.

Повествование в форме *ich-Erzählung* Достоевский поручает особому хроникёру-рассказчику.

В приведенном выше отзыве Горького о романе дальше читаем: «...в романе есть фигура, на которую критики и читатели до сих пор не обратили и не обращают должного внимания, — фигура человека, от лица которого ведется рассказ о событиях романа», — пишет Горький.

Этого хроникёра-рассказчика, очевидца случившихся в городе происшествий, зовут Антон Лаврентьевич Г-в. При этом он не только рассказчик, но и действующее в романе лицо. Стремясь творчески очертить его облик, Достоевский вводит его в диалоги — приятель и «конфидент» старшего Верховенского, он разговаривает и с сыном его, и с Кирилловым, и с Шатовым, и с Лизой Дроздовой, в которую даже чуть-чуть влюбляется: «Секреты ее стали для меня вдруг чем-то священным», — признается он.

Достоевский позволяет Антону Лаврентьевичу раньше других частично разгадать козни нигилистов-заговорщиков; кульминационным выражением его умонастроения оказывается сцена в главе «Окончание праздника», когда он в бешенстве кричит Петру Верховенскому: «— Это ты, негодяй, всё устроил! Ты на это и утро убил. Ты Ставрогину помогал... .. ты, ты, ты!» (522)<sup>31</sup>.

Формально же лицо рассказчика подчеркнуто в тексте целой системой вставок-оговорок особого, формального же назначения. В большинстве случаев эти оговорки должны напоминать читателю о повествующем «я»: «Я забыл сказать, что...» «Жаль, что надо вести рассказ быстрее и некогда описывать...» «Впрочем, я ужасно ушел вперед...» и т. п. Иной раз, когда, не будучи очевидцем происходящего, рассказчик оказывается «всеведом», вставки комментируют повеству-

емое как его, рассказчика, реконструкцию: «Я сильно думаю, что...» «Так, я полагаю, он рассуждал» (о Петре Верховенском — Л. Р.) и т. п.

И тем не менее облик Антона Лаврентьевича на- чисто исчезает из читательского поля зрения в тех местах хроники, где никаких, хотя бы косвенных указаний на него, как на рассказчика, не оказывается. Таковы, например, обе главы «Ночь», начиная — в первой из них — с третьей главки; главка «Иван-царевич» во второй же части; сцена встречи Ставрогина с Лизой в части третьей и некоторые другие фрагменты романа, где Достоевский как бы забывает о своем хроникёре вполне и где стилевая манера рассказа неоспоримо принадлежит самому автору.

«Стушевывание» Антона Лаврентьевича совершается в речевом аспекте и на протяжении всего романа: его язык со стороны словарной и стилевой фактуры так близок языку некоторых других написанных от первого лица вещей Достоевского, что никакого индивидуального речевого портрета рассказчика просто-напросто не складывается. В языке Антона Лаврентьевича — те же черты разговорно-экспрессивного словаря, фразеологии и фразовых конструкций, которые мы встречаем, например, в «Зимних заметках о летних впечатлениях», то есть в языке самого Достоевского, или, отчасти, в «Записках из подполья», или — и это особенно — в более позднем «Подростке». Свойственная названным произведениям так называемая «будничная» лексика представлена у хроникёра «Бесов» словечками вроде *примазался* («...примазался где-то к какой-то ученой экспедиции» — это о Ставрогине), *прилгнуть* [«...он (Степан Верховенский — Л. Р.) даже много и прилгнул»], *отгуляться* в значении «отдохнуть», «оправиться», *каталашка* («Книгоношу заперли в каталашку»), *пуще*, *утрешний*, *давешний* и т. д.

Интересен, например, синонимический ряд, содержащий различные разговорно-экспрессивные варианты

значения «говорить-заговорить»: *затрещать, сыпать бисером, затараторить, растабарывать*, даже *хлопнуть* в значении «выкрикнуть»: «— Если не умеете говорить, то молчите, — хлопнула студентка» (413).

Тут же и эмоционального выражения уменьшительные: *чиновничкишка, мещанишкишка, анекдотцы*, и суперлативы: «*деликатнейшая связь*», «*интимнейший конфиден*», «*полнейшее, совершеннейшее незнание обыденной действительности*» и пр., относящие нас опять-таки к другим от первого лица повествованиям и собственно авторскому словарю.

Из словаря самого Достоевского в языке Антона Лаврентьевича словечко в и цы (нем. Witz) — о немце-докторе, смеявшемся «...собственным своим вицам» (472); «вицы» находим, например, в «Дневнике писателя» за март 1877 года (стр. 12); от автора же экспрессия сочетаний типа *хвалить взапуски, поддакивать взапуски, до страсти любить* (что-либо) — последнее находим, например, в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (т. 4, стр. 104), а в «Записках из подполья» это «до страсти», равно как и другие сочетания с «до», выражающие предельность какого-либо чувства («до кровомщения» ненавидеть, «до крайней желчи» завидовать) встречаются неоднократно.

Повторяет Антон Лаврентьевич и частые в языке Достоевского *очень* и *сильно* в необычных глагольных сочетаниях: «*я сильно думаю, что...*», «*очень шептались*», «*очень начала чувствовать*», *очень предчувствовал*» (ср. в «Подростке»: «очень молчал», «очень поцеловались»); повторяет, наконец, и ту домашне-стилевую, доверительную тональность самого фразового построения, которая так характерна для Достоевского; вроде, например, такой записи, сделанной 105 лет назад в «Дневнике писателя»: «Я тотчас же сел в вагон и отправился в Эмс, — о, не отдыхать, а затем, зачем в Эмс ездят» (Июль-август 1867, стр. 264).

\*\*  
\*

Генезис образа Антона Лаврентьевича отчасти прослеживается в Записных тетрадах Достоевского, где предопределен «особый тон» его рассказа, который бы лишь постепенно, глазами очевидца, вводил читателя в хроникку событий — главное — понимание их. «Рассказ вроде пушкинского, кратко и без объяснений психологических, откровенный и простодушный», — записывает Достоевский.

Именно слово «простодушный» заставило, вероятно, некоторых исследователей — Ф. И. Евнина, например, — приписать Антону Лаврентьевичу черты простака. «Всё рассказано, — пишет он о романе 'Бесы', — сквозь восприятие недалекого (! — Л. Р.) обывателя-хроникёра, изумленного и потрясенного происходящим»<sup>32</sup>.

Однако ни простодушия, ни тем более недалекости никак нельзя приписать Антону Лаврентьевичу. Дело в том, что не только его речевой портрет теряется в языковых чертах некоего обобщенного повествовательного «я» Достоевского, но и его творческий облик ступшевается перед выступающим за ним образом автора, постепенно и необратимо как бы растворяясь в последнем.

Достоевский передает хроникёру свое мастерство образной экспрессии в описании явлений и лиц: «Варвара Петровна сидела, выпрямившись, как стрела, готовая выскочить из лука»; «...князь, молчавший, как будто заперли его на замок»; «... девица Виргинская, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая, как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, ...разглядывала гостей нетерпеливо прыгающими глазами».

В этом последнем примере заключено другое, при этом самое важное «свое», что поручает Достоевский Антону Лаврентьевичу, — *ирония, обличение нигилис-*

тической одержимости и условий, в которых она возникает. И в различных местах романа мы находим, например, афористического склада высказывания, которые простодушному, не скажи уж: недалекому! очевидцу событий примыслить никак нельзя.

О людях вообще:

«...нервная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений, которых так искали тогда иные, беспокойные в своей деятельности, господа доброго старого времени» (218).

«А ведь *настоящее*, несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким, ну хоть на малое время; мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели, тоже, разумеется, на время;» (курсив Ф. М. Достоевского. — Л. Р. Стр. 215).

Или — о людях морально бесхребетных, которыми так легко управляют нигилисты типа Петра Верховенского:

«...эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки 'передовых', которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов...» (481).

Александр Лаврентьевич не просто умен, он ироничен! Ироническая тональность, собственно говоря, и открывает романное повествование: «Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию», — сообщает хроникёр о старшем Верховенском. «— Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел только его нос и прибавилось добро-

душия». Тут же, рядом, — о дамах-помещицах, которые, прочтя «Антон Горемыку», «...даже из Парижа написали своим управляющим, чтобы с той поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее».

Ироничен Антон Лаврентьевич и тогда, когда выступает в роли действующего лица. Вот, например, его высказывание о Шигалева, которого он встречает у Шатова:

«...Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого» (145).

А в разговоре с Кирилловым, когда тот говорит: «— ...историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога, и от уничтожения Бога до...

— До гориллы» — перебивает Антон Лаврентьевич (124).

Ирония рассказчика, продолжаясь, теряет какой бы то ни было оттенок снисходительности в повествовании о Лембках, например, или об организаторах и участниках Праздника и местами приобретает беспощаднейшую сатирическую остроту. Вершина ее — на страницах, посвященных Кармазинову. Интересна функция уменьшительных в рассказе о том, как Петр Верховенский приходит к «великому писателю», который в это время «кушал утреннюю свою котлетку», сидя в «какой-то домашней куцавеечке на вате, вроде как бы жакеточки, с перламутровыми пуговками, но слишком уж коротенькой, что вовсе и не шло к его довольно сытенному брюшку», и который потом ходил по комнате, «бодро дрыгая правую ножкой...» (385, 387).

Тут Достоевский даже и не гримируется под введенного им в роман рассказчика.

А затем следует знаменитое «Мерси» Кармазинова.

Надо отметить характерное для Достоевского словечко «непрерменно» — не в функции подчеркивания эпитета, но для усиления иронической экспрессии. В пейзаже, например, на фоне которого встречаются герои этой кармазиновской вещи:

«...Тут *непрерменно* кругом растет дрок (*непрерменно* дрок или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике). При этом на небе *непрерменно* какой-то фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не примечал из смертных... Дерево, под которым уселась интересная пара, *непрерменно* какого-нибудь оранжевого цвета» (498).

Здесь, в этой блистательной пародии, образ Антона Лаврентьевича, вытесненный авторским самовыражением, исчезает совсем.

И когда в конце романа в описании «последнего странствования Степана Трофимовича» мы читаем: «Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место, которое я и *выставил эпиграфом к моей хронике*», — мы вряд ли отнесем это «я» к рассказчику (680).

## 2

Образ автора отчетливо различим и в речи диалогической, то есть речи различных персонажей романа.

М. Бахтин в своем интереснейшем исследовании, как известно, приписывает героям Достоевского широкую автономию. «У Достоевского, — пишет он, — слово автора противостоит полноценному и беспримесно чистому слову героя»; в отличие от Льва Толстого, у которого, как полагает Бахтин, «слово героя заключено в твердую оправу авторских слов о нем».



Вряд ли так! Слово героев Достоевского в неизмеримо бóльшей степени, чем слово толстовских персонажей, подвержено строжайшему авторскому контролю. И это — именно потому, что слово у Достоевского, по Бахтину же, полифонично, то есть, чаще всего, дискуссионно; дискуссия же всегда требует бóльшего авторского вмешательства, чем монолог. И бóльшего же самоотражения поисков, альтернатив и заключений самого автора.

Такого типа самоотражения представлены в диалогической речи «Бесов» очень выразительно. Почвенническая, например, ориентация автора обусловила с формально-стилевой стороны язык двух вполне полярных персонажей — Марьи Тимофеевны Лебядкиной и Федьки Каторжного, — язык, сходный по своей фольклорной окрашенности. Монолог Хромоножки в главе 4-ой первой части романа: «Богородица что есть, как мнишь?» (154) или же, в главе 2-ой второй части, ее отповедь Ставрогину, где и «сокол», и «филин» и «сыч», и «сова слепая» из арсенала народной образности, — всё это живо перекликается со складом речи беглого каторжника:

«— ...Я вон в пятницу натрескался пирога, как Мартын мыла, да с тех пор день не ел, другой погодил, а на третий опять не ел. Воды в реке сколько хошь, в брюхе карасей развел... ..Да вы дорогу-то здешнюю знаете ли-с? ...я бы мог руководствовать, потому здешний город — это всё равно, что чёрт в корзине нес, да растрёс» (274-275).

Почвенничество автора, как мы знаем, нашло и мировоззренческое отражение в образе Шатова. Под многими из шатовских высказываний мог бы подпи-

саться сам Достоевский, иные вполне неоспоримо принадлежали ему самому\*.

«— Люди из бумажки; от лакейства мысли всё это...» — говорит Шатов об атеизме. И на следующей, 147-ой странице романа: «— ...Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить». Знаменитое шатовское: «Единый народ 'богоносец' — это русский народ!» в «Дневнике писателя» за 1876 год (стр. 258) повторено так: «(Россия) — хранительница Христовой истины, ...настоящего Христова образа»...

Это ли «беспримесно-чистое» по отношению к автору слово, как утверждает Бахтин?

Вмешательство автора в речь Шатова целеустремленно и структурно: есть в Записных тетрадах место, где в помощь такому вмешательству предполагается привлечь и хроникёра, Антона Лаврентьевича: приведен длинный монолог Шатова, обличающий нигилизм и его пренебрежение к народу, а после монолога приписка Достоевского: «И потом сейчас же хроникёр от себя: Так говорил Ш. в исступлении и, может быть, ведь и действительно было в его словах несколько вполне справедливого».

\*\*  
\*

Но особенно зримо раскрывается образ автора поэтически и идейно — в структуре речевой характеристики персонажей в целом, в исключительной продуманности черт индивидуального языка, их дозировки, их

---

\* Судя по Записным тетрадам, таких высказываний предполагалось быть больше. Вот одно из не вошедших в роман, в котором опять-таки надо отметить «непременно», введенное с целью усиления иронии: «Бьюсь об заклад, что декабристы *непременно* освободили бы тогда русский народ, но *непременно* — без земли, за что им *непременно* сейчас народ свернул бы голову».

творческой функциональности. Толстовское суждение о том, что герои Достоевского «все говорят одним и тем же языком», может быть, именно в отношении «Бесов» вполне несправедливо.

Персонажам с «искалеченным», по выражению Л. Гроссмана, духовной одержимостью словом — Ставрогину, Кириллову, Лебядкину и другим противостоит слово гармоническое — в устах Шатова, Хромоножки, камердинера Алексея Егоровича, отчасти Верховенского-старшего. «Отчасти» — потому, что слово Верховенского-старшего, как и некоторых других, может, по замыслу автора, в свою очередь являть собою и искалеченность, и гармонию.

Так, например, складно говорящий Шатов в минуты душевного смятения впадает почти в косноязычие. Напротив, вполне косноязычный Кириллов, который отвечает на сообщение Шатова о начавшихся родах жены: «— Очень жаль, что я родить не умею... то есть, не я родить не умею, а сделать так, чтобы родить не умею... или... Нет, это я не умею сказать», — этот же Кириллов говорит о Христе слогом, который мог бы принадлежать самому Достоевскому:

«— ...Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: 'Будешь сегодня со мною в раю'. ...Слушай: Этот Человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без Этого Человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Ему такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда» (642-643).

Может быть, наиболее ярким примером целенаправленности речевой характеристики в романе «Бесы» оказывается использование в ней иноязычной лексики,

которая, по замыслу автора, символизирует западную природу оторвавшейся от почвы русской интеллигенции.

Так возникает блестящая по своей творческой найденности и запоминающаяся макароническая речь Степана Трофимовича с его: «*Mon cher, je suis un опустившийся человек!*» (стр. 68).

Но вот, может быть, сто́ит напомнить последний разговор атеиста Кириллова с Петром Верховенским, где в той же символике происхождения «съевшей Кириллова идеи» представлены галлицизмы; Верховенский добивается от Кириллова подписи под предсмертной запиской с признаниями в несовершенных преступлениях:

«— Э, чёрт! — озлился вдруг Петр Степанович, — да он еще и не подписал! что ж вы глаза-то выпучили, подписывайте!

— Я хочу изругать... — пробормотал Кириллов, однако взял перо и подписался. — Я хочу изругать...

— Подпишите: *Vive la république*, и довольно.

— Bravo! — почти заревел от восторга Кириллов. — *Vive la république démocratique, sociale et universelle ou — la mort!..*»

И дальше:

«— Стой, еще немножко... Я, знаешь, подпишу еще раз по-французски: «*de Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde*». Ха-ха-ха! — залился он хохотом. — Нет, нет, нет, стой, нашел всего лучше, эврика: *gentilhomme-séminariste russe et citoyen du monde civilisé*» (645-646).

И — в заключение — по поводу «чёрта», упомянутого в этом диалоге Петром Верховенским: чертыхаются в романе почти все — Ставрогин 6 раз, Шатов — 4, Кириллов, Федька, Лямшин, Виргинский — по разу. Петр Верховенский, которому Достоевский придал и внеш-

не бесовские черты, произносит слово «чёрт» одиночно и в сочетаниях типа «к чёрту!», «чёрт знает», «чёрт бы драл» — 41 раз.

Нет «чёрта» в языке рассказчика, у которого выражение аналогичной экспрессии контрастно и выглядит так: «О Боже, как могло всё это сделаться! Но ради Бога говорите точнее, Степан Трофимович...» и т. п.

Встречаем «чёрта» и у Степана Трофимовича, но этому своему, хоть и кающемуся на смертном ложе, западнику автор не разрешает произнести его по-русски. «— Au diable le Karmazinoff! Au diable la Lembke!» — говорит Верховенский-старший.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 6, стр. 261. Москва, 1957.

<sup>2</sup> См. очерк-предисловие этого сборника.

<sup>3</sup> Н. Лосский. Достоевский и его христианское миропонимание. Стр. 12. Нью-Йорк, 1953.

<sup>4</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1, стр. 140. Москва, 1964.

<sup>5</sup> Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений. Т. 9, стр. 364-365.

<sup>6</sup> Л. Гроссман. Достоевский. Стр. 24-25. Москва, 1965.

<sup>7</sup> Там же, стр. 25.

<sup>8</sup> Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 1, стр. 133.

<sup>9</sup> Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений. Т. 1, стр. 206-208. Москва, 1956.

<sup>10</sup> Там же, т. 5, стр. 22-26.

<sup>11</sup> Там же, т. 10, стр. 419.

<sup>12</sup> Там же, т. 4, стр. 495.

<sup>13</sup> Там же, т. 6, стр. 261.

<sup>14</sup> Там же, стр. 646-647.

<sup>15</sup> Там же, т. 7, стр. 618.

<sup>16</sup> Там же, стр. 627.

<sup>17</sup> Там же, т. 3, стр. 353.

<sup>18</sup> Там же, т. 5, стр. 63-64.

<sup>19</sup> Там же, стр. 65.

<sup>20</sup> Там же, т. 9, стр. 303-304.

<sup>21</sup> Там же, стр. 305.

<sup>22</sup> Страницы в скобках указаны по всё тому же изданию: Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 5. Москва, 1957.

<sup>23</sup> Там же, стр. 297.

<sup>24</sup> Там же, т. 6, стр. 246. Дальше страницы в скобках указаны того же 6-го тома по тому же изданию Ф. М. Достоевского.

<sup>25</sup> Ф. М. Достоевский. У Тихона. Пропущенная глава из романа «Бесы». Стр. 37-38-40. Inter-Language Literary Associates. Нью-Йорк, 1964.

<sup>26</sup> Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений. Т. 7, стр. 191.

<sup>27</sup> Там же, стр. 437.

<sup>28</sup> Там же, т. 10, стр. 160-161.

<sup>29</sup> Там же, стр. 163, 166, 174, 179.

<sup>30</sup> В. В. Виноградов. О языке художественной литературы. Стр. 155. Москва, 1959.

<sup>31</sup> Страницы в скобках указаны здесь и далее тома 7-го («Бесы») всё по тому же изданию Ф. М. Достоевского.

<sup>32</sup> Ф. И. Евнин. Роман «Бесы». Сборник «Творчество Ф. М. Достоевского». Изд-во Академии Наук СССР. Москва, 1959.

## «Россию жалко . . .»

(О романе А. И. Солженицына  
«Август Четырнадцатого»)

«Самая свободная в мире» печать не обмолвилась ни единым словом о крупнейшем событии в мире литературы: выходе в свет романа А. И. Солженицына «Август Четырнадцатого». Что ж... Китайцы и по сей день не знают, что на Луне высаживались люди. В наш век научно-технической революции на доброй трети земного шара средством информации служит людская подспудная молва да еще (в лучшем случае) машинописные листки Самиздата.

И все-таки молчание «самой свободной» обречено на неуспех. Мало ли было, — на позор человечеству, — писателей, поэтов, мыслителей, которых гнали, поили ядом, вели на эшафоты, расстреливали в тюремных подвалах, замаривали в концлагерях, книги которых сжигались, на самые имена которых накладывалось «табу»?

Как и прежние произведения Солженицына, его «Август Четырнадцатого» займет свое место в мировой литературе, несмотря на молчание (трусливое молчание!) «самой свободной».

Каждое подлинно художественное произведение — это изобретение, это нахождение нового, доселе небывшего.

Вот такое же «изобретение» и «Август Четырнадцатого». Новизна уже в самой композиции романа: по-

---

А. Солженицын. Август Четырнадцатого. Узел I. (10 — 21 августа ст. ст.). YMCA-PRESS. 11, rue de la Montagne Ste Geneviève, Paris-V. World Copyright © 1971 by Alexandre Sol-jénitsyne.

вестование, ведущееся эпическим слогом, вдруг прерывается. Перед читателем — как бы не связанные между собой фразы, обрывки фраз, быстро появляющиеся и столь же быстро исчезающие образы. А затем — снова повествование. Прорывы бешеной сутолоки в эпос, — как бы кинематографический экран, на котором быстро и смятенно появляются и исчезают картины, но именно эта обрывочность и быстрота переносят в давно ушедшую эпоху, превращают нас в современников событий, описанных в «Августе Четырнадцатого».

И еще: в эпос врывается не только смятенная и шумная жизнь. Врываются... Нет, не то слово! Совсем не врываются, а важной, чуть шаркающей походкой поседелого на государственной службе чиновника входят «документы». Говорят они с ледящей бесстрастностью. Солженицын дает им слово, сам не прибавляя и не поясняя ничего. Но и эти документы — всего их в романе шесть — ставят нас с эпохой лицом к лицу.

Наконец, короткие, напечатанные косою прописью, сентенции самого автора. Ими подкрепляется, усугубляется эпический (исключая «прорывы») склад повествования.

Основная тема «Августа Четырнадцатого» — неудачная операция русской армии в августе четырнадцатого года в Восточной Пруссии, гибель Второй армии, самоубийство командующего, генерала от кавалерии А. В. Самсонова.

Но эта трагедия разыгрывается на общем фоне трагедии всей России, вступившей в войну как раз, когда перед ней открылись возможности мирного решения наболевших вопросов, путь к экономическому процветанию и культурному росту. Несколькими скупыми фразами (о чем ниже) Солженицын рисует трагическую «несвоевременность» войны для России. И еще: разве это не трагедия, когда в стране, выходящей на страшнейшую доселе войну, слово «патриот» для значитель-



ной части образованного общества — почти бранная, во всяком случае, уничижительная кличка, а офицер — непременно персонаж из купринского «Поединка», в самом лучшем случае заслуживающий презрительного сожаления? Да, так было, и Солженицын не прячет от нас и этого трагического фона.

Панорама романа «Август Четырнадцатого» развертывается в разных планах. Но, обобщая, их можно свести к двум: плану войны и плану мира. Начало романа протекает в плане «мира». Правда, «мира» иллюзорного: где-то на западных рубежах уже бушует война. Но в тылу война еще не дала себя знать. Еще не переоборудованы под лазареты казенные здания, еще не маршируют на учебных плацах бородатые ополченцы, еще царит благословенная тишь в российской провинции. Герои первой части: Исаакий Лаженицын (уж не Исайя ли Солженицын, отец писателя?), студент-толстовец (еще будучи гимназистом проник в Ясную Поляну и встретил вышедшего на прогулку Льва Николаевича), богатый «экономист» (так на Юго-Востоке называли владельцев поместий-«экономий») Томчак, его сын Роман, его дочь Ксенья, жена Романа — Ирина Степановна, специалист по мукомольному делу еврей Архангородский Илья Исакович, его дочь Соня, начальница частной гимназии в Ростове-на-Дону Харитонова, ее сын Ярослав, к недоуменному недовольству своей прогрессивно настроенной и либеральных взглядов матери избравший военную карьеру и ставший офицером.

Кроме Ярика Харитонова, никто из них не болел Россией, хотя и спорили о политике до хрипоты в горле. Но вот разразилась война и Саня Лаженицын, хотя и имел как студент льготу, поспешил определиться в Сергиевское артиллерийское училище: «Россию жалко».

Вероятно, в последующих романах-«узлах» задуманной Солженицыным эпопеи мы еще повстречаем этих людей и поближе с ними познакомимся.

А пока — план «мира» резко обрывается. В исходящие жарой сухие августовские дни девятьсот четырнадцатого года наши войска вступили в Восточную Пруссию. Отныне главные герои романа — генерал Александр Васильевич Самсонов, полковник генерального штаба Воротынцев и русский солдат. Да, русский солдат! В облике ли Арсения Благодарёва, верно сопровождавшего Воротынцева в его метаниях по Восточной Пруссии, в облике ли тех солдат Дорогобужского полка, что несли с собой по лесу на носилках, почитай, с полсотни верст тело своего убитого полкового командира (а они даже имени его крещеного не знали: для них он был «высокоблагородие»), чтобы похоронить его в родной земле, в облике ли рядового Качкина — русский солдат. Тот самый, про которого прусский король Фридрих Второй сказал когда-то, что его мало убить: его нужно повалить.

В эмигрантской русской печати военные (например, В. В. Орехов в журнале «Часовой») высказывают мнение, что операция в Восточной Пруссии была необходима не только для спасения Франции, но и для России: немцы подходили к Парижу, и если бы они Францию поставили на колени, то вся мощь германской военной машины обрушилась бы на Россию. То, что немцы перебросили с Западного фронта два корпуса в Восточную Пруссию, было их ошибкой: им следовало бы временно отдать без боя эту провинцию русским, а самим бросить все силы на разгром Франции. Но император Вильгельм и игравшее в армии первую скрипку прусское дворянство психологически не могли на это пойти: Восточная Пруссия была «колыбелью прусских королей». Указывается также, что потеря одной лишь армии была для России не столь уж чувствительной. Пусть так. Скажем даже больше: в Первую мировую войну российские вооруженные силы терпели не только поражения, но и одержали ряд блистательных побед.

Напомним хотя бы Галицийскую битву в 1914 году, неудачную для немцев операцию под Лодзью в том же 1914 году, а также нашу удачную Варшавско-Ивангородскую операцию (октябрь 1914 г.); напомним Сарыкамьшскую операцию на Кавказском фронте (декабрь 1914 — январь 1915 г.), закончившуюся разгромом турецкой армии, взятие Трапезунда и Эрзерума в 1916 г.

Да, были ошибки. Но делали их не только мы одни. На фатальную ошибку германского командования мы уже указали. Что же касается Франции, то она не только вступила в войну неподготовленной; французы, *имея уже перед глазами опыт русско-японской войны*, наглядно показавшей преимущество походной формы защитного цвета (само слово «хаки» — японское слово), послали своих солдат на фронт одетыми в традиционные синие мундиры и красные брюки! Лучшей мишени для неприятеля не придумаешь; немцы действительно косили как траву несчастных французов, пока их командование не спохватилось.

Самое же главное: к весне 1917 года наш фронт стабилизировался. Продвижение неприятеля было задержано. Занимали же немцы Царство Польское и Литву, но не исторические русские земли (какая разительная разница с 1941-1942 гг.!). Русская армия была оснащена оружием как никогда ранее в своей истории. На апрель-май намечалось наступление по всему фронту. А Германия в это время задыхалась в тисках блокады; германское командование сознавало, что война проиграна, и обратилось к последнему сулившему ему победу над Россией средству. Но если взглянуть на прошлое издали, то, думается, Солженицын все же прав, распознав в нашем первом, августовском поражении 1914 года перст судьбы. Пусть другие делали ошибки. *Мы не имели права их делать!* Мы вышли на войну, не успев решить «проклятый» земельный вопрос, не успев отстроить конституционную государственность, не успев изжить нигилистические, антигосударственные («чем

хуже, тем лучше») настроения среди доброй части нашего образованного общества. Французы, англичане, бельгийцы, сербы не знали в своей среде пораженцев, они не имели в Швейцарии своих лениных. Мы, к сожалению, находились в другом положении.

Солженицын неправ, когда он пишет: «Губило русскую армию старшинство — верховный неоспоряемый счет службы и порядок возвышения по старшинству». Неправ потому, что такие порядки свойственны любой армии; любой армии свойственны также и рутинность, и бюрократия, и протекция. Если не принимать в расчет эти органические пороки, то нечего и заводить армии. Неправ он и тогда, когда замечает, что не было или почти не было у нас способных военачальников. В Первую мировую войну выдвинулись Юденич и Брусилов (хотя позже и разошлись их дороги), Деникин, Алексеев, мог бы стать выдающимся военачальником (если бы не послали его на заклание!) Самсонов.

Но в глубинном Солженицын прав: процесс обновления и возрождения, начавшийся в России после девятисот пятого года, еще не успел охватить все офицерство, еще были охвачены им, главным образом, капитаны, подполковники и полковники-генштабисты («младотурки»), — а их-то была горстка, — и армия вышла на войну не только недостаточно вооруженной, но и организационно не готовой.

Солженицын говорит обо всем этом с болью: «Россию жалко». Те, кто сейчас его травят, — со злорадством: им России не жалко («На Россию, господа хорошие, мне наплевать». Ленин). Уже одно это — достаточная причина для того, чтобы они замалчивали «Август Четырнадцатого»: между ними и Солженицыным непроходимый ров.

Язык романа — солженицынский. Вот как есть гоголевский язык, толстовский, чеховский, бунинский... Язык Солженицына — язык особый: тут есть и

«вплынь» вместо «вплавь» и «не было ни плана заранее, ни приказаний»; ясность мысли у него «безутратная». Если «вплынь» в пору Далю, то «безутратная ясность» внутренне как бы сродни «несрочной прелести» Баратынского. А вот один пример, свидетельствующий не только о солженицынском даре проникновения в стихию русского языка, но и о том, как умеет он в нескольких словах высказать многое. Это мы — о потрясающих строках о вещем сне Самсонова.

«Чтобы вернее заснуть, опять читал Самсонов молитвы — много раз «Отче наш» и «Богородицу».

Не виделось ничего. Но возле уха — ясное, с оттенками вещего голоса, а как дыхание:

— Ты — успишь... Ты — успишь...

И повторялось.

Самсонов оледел от страха: то был знающий, пророческий голос, даже может быть над будущим властный, а понять его смысл не удавалось.

— Я — у с п е ю ? — спрашивал он с надеждой.

— Нет, успишь, — отклонял непреклонный голос.

— Я — у с н у ? — догадывалась лежащая душа.

— Нет, успишь! — отвечал беспощадный ангел.

Совсем непонятно. С напряжением продираясь, продираясь понять — от натуги мысли проснулся командующий.

Уже светло было в комнате, при незадернутом окне. И от света сразу прояснился смысл: у с п и ш ь — это от Успения, это значит: умрешь.

Прилил пот холодный на яву. Еще струною дозвучивал пророческий голос. А — когда у нас Успение?

Голова сосредоточивалась: мы — в Пруссии, сегодня — август, сегодня — пятнадцатое.

И — холодом, и — льдом, и — мурашками: Успение — сегодня. День смерти Богоматери, покровительницы России — сегодня. Вот оно, вот сейчас наступает Успение.

И мне сказано, что я умру. Сегодня.

В страхе Самсонов поднялся. Сидел в белье, с ногами босыми, с руками скрещенными.

Дальний, но уже постоянный, хорошо слышался гул канонады» (стр. 295).

Мы, вероятно, в последующих книгах-«узлах» повстречаем и Воротынцева (какой дорогой он пойдет после Октября семнадцатого года?), и уроженца Тамбовщины крестьянина и солдата Арсения Благодарёва.

Благодарёв, — это не Платон Каратаев Толстого. Платон Каратаев, — даром что в солдатской форме и надолго — на двадцать пять лет! — загнанный в армию, не имел в себе ничего солдатского, оставался русским крестьянином. Арсений Благодарёв, по-видимому, не прилагая к тому особых усилий, стал солдатом, и солдатом отличным. Каратаева мы встречаем в плену у французов; мы не знаем, был ли он по натуре спортивист и весел (какое там веселье в плену?). «Видно лих был смеяться Благодарёв, так и несло его на смех», — читаем мы про верного спутника полковника Воротынцева. Каратаев молился, перевирая слова, вставляя народные присловья, не вникая в смысл сказанного. А Благодарёв в восточно-прусском лесу отслужил за священника панихиду по павшему смертью героя командиру дорогобужцев Владимиру Васильевичу Кабанову (надо сказать, что эта панихида — одна из самых потрясающих сцен в романе).

«Сколько ж сторон и объема во всяком человеке, вот в молодом крестьянине из глухого тамбовского угла: три дня с ним вместе идешь через смерть, потом бы потерял навсегда, так бы не узнал, не догадался, не задумался, если бы не случай: он в церковном хоре поет, и не один же год, наверно, и к службе прислушан, и это нечто важное в его жизни, любит, знает — эк ведь выговаривает до точности в каждом звуке и в каждой паузе, с полным смыслом, все интонации правильные...» (стр. 450-451).

В послесловии Солженицын просит о присылке неопубликованных материалов, относящихся, между прочим, и к Тамбову. Не повстречаем ли мы там, в 1921 году, когда по Тамбовщине полыхала Антоновщина, вновь Арсения Благодарёва?

О великом князе Николае Николаевиче. Внешний облик его дан поразительно красочно. Но... «Вдруг — вспыхнул великий князь редким у него приступом гнева». Неточно: великий князь гневался часто, был вспыльчив, хотя потом и отходил и даже просил прощения за резкость. Покойный «нововременец» А. И. Ксюнин, бывший на фронте корреспондентом, рассказывал, что когда он и его коллеги выстроились в Ставке в ожидании великого князя, у них «коленки дрожали», хотя уж они-то, штатские, никак Верховному подчинены не были.

Для правильного понимания замысла романа Солженицына необычайно важна, на наш взгляд, сцена разговора, в котором участвуют инженер Илья Исакович Архангородский и бывший политический эмигрант, разочаровавшийся анархист Ободовский. А говорят они о будущем России.

Ободовский: «Вы знаете расчет Менделеева? — к середине XX века население России будет много больше трехсот миллионов, а один француз предсказывает нам к 1950-му году — триста пятьдесят миллионов!

Маленький, ладный, осторожный Архангородский сидел в кругоохватном поворотном твердокожаном кресле, сложив небольшие руки одна на другую на выступающем животике.

— Это в том случае, Святослав Иакинфович, если мы не возьмемся выпускать друг другу кишки».

И еще слова Ободовского: «Кто касался ДЕЛА, кто сам что-нибудь руками ДЕЛАЛ, тот знает: не капиталистическое, не социалистическое, производство только

ОДНО: то, которое создает национальное богатство, общую материальную основу, без чего не может жить ни один народ».

В лице Архангородского и Ободовского Солженицын вывел нарождавшееся тогда на Руси сословие людей ДЕЛА: тех, кого больше заботило, как СОЗДАВАТЬ, чем то, как РАСПРЕДЕЛЯТЬ.

Солженицын показывает нам, какой могла бы быть Россия, если бы...

Не теряешь надежды: еще поступят к Солженицыну новые материалы об августовских днях четырнадцатого года, может быть, более отчетливо предстанет нам облик вызванного им из забвенья героя полковника Кабанова, может быть, новыми чертами и черточками обогатится образ Воротынцева. Но если всего этого и не случится, то все же непреложно одно: что-то новое, огромное навсегда вошло в русскую и мировую литературу, и имя этого огромного — «Август Четырнадцатого».



## Споры о славянофильстве И русском патриотизме

В СОВЕТСКОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  
1967 — 1970 гг.

В течение шестидесятих годов тема русского патриотизма получила особое развитие в советской литературе и, в частности, в поэзии. Свое выражение она, главным образом, находит в чувстве восхищения русской историей и ее традициями, в утверждении ведущей роли русской нации в области культуры и истории. Недавние попытки советских писателей и ученых переосмыслить наследие ранних славянофилов и их роль в русской культуре также следует отнести к характерным особенностям этого широкого национального движения.

Со временем становится всё более ясным, что советские идеологи столкнулись с большими трудностями в своем стремлении привить молодому поколению чувство советского патриотизма, основанного исключительно на русской революционной традиции и на идеологии марксизма-ленинизма. При этом следует отметить, что по сравнению с той работой, которая ведется в области переосмысления марксизма во Франции, Италии, Австрии, Венгрии и Югославии, советской марксистской науке, что касается ее дальнейшего развития, похвастаться нечем. В среде советской интеллигенции, особенно среди молодежи, всё сильнее обозначается тенденция к радикальному отказу от революционных и интернационалистических теорий в той форме, в которой они при-

меняются ортодоксальными марксистами к русской истории и русскому национальному характеру.

У представителей либеральной интеллигенции, как, например, у академика А. Сахарова, имеются свои умеренные взгляды на патриотизм. Этих либералов скорее всего можно охарактеризовать как представителей универсалистического мировоззрения, не содержащего в себе ни шовинистического высокомерия, ни политического догматизма.

К сожалению, имеются признаки того, что определенная часть партийного руководства решила поддерживать ультранационалистические течения. По-видимому, таким путем правительство пытается направить всё более усиливающийся процесс либерализации литературной и технической интеллигенции в относительно безопасный для себя канал русского шовинизма, который может быть контролируем и управляем сверху. Несомненно, такая идеологическая переориентировка, то есть призыв к русскому патриотизму с партией во главе, должна проводиться весьма искусно, если принимать во внимание опасения, высказанные в свое время Лениным относительно русского шовинизма и разделяемые и до сих пор еще достаточно сильными кругами советских ортодоксальных марксистов. Еще большая опасность для возглавителей партии заключается в том, как об этом напоминает опыт Второй мировой войны, — чтобы не потерять контроля над истинным русским патриотическим движением, которое вполне может в один прекрасный момент захотеть освободиться от партийной опеки.

Поскольку Ленин постулировал существование двух культур, как в феодальном, так и в капиталистическом обществе (одной — разлагающейся культуры реакционного правящего класса и другой — зарождающейся культуры объективно-прогрессивных и революционных элементов), партийная цензура разрешает советским писателям и ученым положительно оцени-

вать не только современную социалистическую культуру, но и некоторые аспекты национальной культуры XIX века. Этим партия также пытается отвлечь внимание советской молодежи от проблем интеллектуальной свободы и материального благополучия, с которым режим не в состоянии справиться, и направить всё ее внимание на изучение ценностей национального прошлого. Однако партия и здесь хочет контролировать и, когда по ее мнению следует, предотвращать *всестороннее* изучение русского национального наследия. Можно привести два характерных для данной ситуации примера: с одной стороны, изучение русского религиозно-философского ренессанса и Серебряного века (или, как настаивает Г. П. Струве, второго Золотого века) русской культуры начала XX столетия до сих пор фактически запрещено<sup>1</sup>; с другой, — советская цензура вдруг допускает споры о некоторых еще недавно почти запретных темах русской культуры середины XIX века, как, например, о славянофильстве. Но при этом, как и следовало ожидать, истолкование идей Хомякова и Киреевского претерпевает извращение и узконационалистическое толкование, почти без упоминания о религиозной стороне их учения.

По этому поводу следовало бы современным ультранационалистам напомнить, что «славянофильство было, и стремилось быть, религиозной философией культуры»<sup>2</sup> и подчеркнуть, что:

«Религия, христианство, православие — вот главное в мирозерцании классического славянофильства. Отнимите от него его религиозный пафос — и вы убьете его душу, опустошите его «идею». Религия была для вождей славянофильства солнцем, освещающим все вопросы жизни, исходною точкою, объединяющим центром системы. Лучами этого солнца была пронизана и славянофильская философия нации, ими питалась и сама вера славянофилов в русскую народность, которая, взятая без православия, была бы в их глазах вовсе лишена своего высокого достоинства»<sup>3</sup>.

Задача настоящей статьи — дать представление читателю о недавно происходивших в советской литературе и в академических кругах дискуссиях по поводу русского национального наследия и, в частности, рассмотреть недавние советские попытки переистолковать роль славянофильства в русской истории и культуре. В результате этой работы удалось идеологически определить инициаторов и участников споров и разбить их с этой точки зрения на три категории:

1. *Ортодоксальные марксисты.*

2. *Националисты, или так называемые русситы.*

Эта категория включает в себя целый ряд группировок от умеренных националистов славянофильского толка (в лучшем смысле этого понятия) до советской разновидности черносотенцев (в худшем смысле этого слова).

3. *Либеральная интеллигенция,* которая по своим настроениям не чужда умеренному национализму, но в основном придерживается универсалистических или общеевропейских взглядов и с большим недоверием наблюдает ультранационалистов из среды «русситов».

Эта статья ограничивается анализом дискуссии о национальном наследии в том виде, в каком она печаталась в официальных советских периодических изданиях в конце шестидесятых годов, когда оппозиционные направления стали себя проявлять достаточно ясно. Примерный период, который охватывает это исследование, — с октября 1967 г. (т. е. дата пятидесятилетия большевистской революции) и до апреля 1970 г. (т. е. столетнего юбилея со дня рождения Ленина). Этот период интересен тем, что подготовка к обоим юбилеям вызвала значительные дискуссии в советской печати об истоках советского патриотизма, который должен, как предполагается, основываться на революционном наследии нашей страны и на некоторых аспектах русской национальной культуры. Основные споры происходили между «русситами» и ортодоксальными марксистами, с одной стороны, и между либералами и орто-

доксальными марксистами, с другой. Критика позиции националистов со стороны либералов, главным образом, находит себе место в изданиях Самиздата. Если взять, например, журнал В. Осипова «Вече» (№№1 и 2), который лишь недавно проник на Запад, то можно вполне предположить, что определенная часть русских националистов искренно желает вернуться к религиозным истокам классического славянофильства и, по всей видимости, не согласна с партийными извращениями славянофильской идеологии. Но изучение историософских взглядов<sup>4</sup>, излагаемых в самиздатовских работах, хоть и весьма интересных и в сравнительном анализе проливающих свет на официально публикуемые материалы из этой области, мы тем не менее оставляем за рамками этой статьи.

Теперь же приступим к разбору официальных дискуссий о славянофильстве и русском патриотизме.

Хотя это может показаться и парадоксальным, но с середины шестидесятых годов главным рупором националистического течения стал журнал «Молодая гвардия», орган Центрального Комитета комсомола. На его страницах в псевдославянофильских выражениях часто и открыто провозглашается мировая миссия русского народа, его культуры и языка. Националистический тон молодых авторов этого журнала, который несомненно пользуется поддержкой влиятельных партийных кругов, уже несколько лет вызывает оживленный отклик как со стороны ортодоксальных марксистов, так и со стороны либеральной интеллигенции. Ортодоксальные марксисты не устают повторять свое давно устаревшее положение, что революционное русское наследие и есть подлинная база советского патриотизма, и отказываются видеть в «реакционном славянофилизме» хоть какие-нибудь значительные положительные ценности. Либеральная интеллигенция со своей стороны стремится завоевать право на свободное изучение сла-

вянофильства во всех его аспектах и делает попытки, примеряя его к сегодняшней ситуации в стране, рассматривать деятельность славянофилов в качестве примера мирной оппозиции деспотизму. Но у либералов здесь — два врага: с одной стороны, на них давят ортодоксальные марксисты, с другой — извращающие идеи славянофилов националисты, поддерживаемые определенными кругами партии.

Вряд ли кто будет сомневаться в том, что в наши дни не может быть полного возврата к славянофильству в его исторически сложившихся формах. Однако, судя по настроениям различных кругов современного российского общества, в частности, либеральной интеллигенции, можно предположить, что существует недвусмысленное стремление снова утвердить культуру и общество на основах православного христианства. Не исключено также, что усилия либеральной интеллигенции в конце концов и приведут к воссоединению религиозных взглядов славянофилов с гуманизмом западников, то есть, иначе говоря, может произойти новый синтез на тех путях, на которых современная Россия ищет для себя совсем иную, чем марксизм, идеологическую основу. Однако «русситы» из «Молодой гвардии», в отличие от либеральной интеллигенции, отнюдь не мечтают о таком синтезе. Больше того: «русситы» даже готовы принять, правда, в весьма поверхностной форме, нечто от религиозности славянофилов, главным образом выражающееся у них в защите старинных церквей (конечно, только в качестве национальных архитектурных памятников), но в основном ими берется на вооружение антизападнические элементы славянофильства, которые всегда были лишь внешней оболочкой глубоко христианского и универсалистического внутреннего ядра славянофильской философии.

В октябрьском выпуске «Молодой гвардии» за 1967 год, посвященному пятидесятилетию большевист-

ской революции, критик-догматик В. Чалмаев опубликовал свою статью «Философия патриотизма», в которой советует писателям завоевывать славу своей нации, а не искать эфемерных успехов на иностранных нивах. В ней же он утверждает, что Россия всегда заключала в себе «изобилие сердечной жизни», в то время как Западный мир всегда был готов задохнуться от мертвого рационализма, от голой бездушной логики. Чалмаев со своей догматичной «страстностью» провозглашает, что «высшая мудрость наших дней» — высоко ценить источники русской искренности и прославлять эту русскость на весь мир. Правда, трудно понять, что именно подразумевает Чалмаев под национальным русским наследием, которое, по его мнению, следует выдвинуть вместо большевистского революционного наследия в качестве основ советского патриотизма.

В 1968 году Чалмаев опубликовал в «Молодой гвардии» еще две статьи подобного характера: «Великие искания» (№ 3) и «Неизбежность» (№ 9), в которых хвалит славянофилов и Ап. Григорьева за укрепление национального русского сознания по отношению к западным влияниям. С явным намерением использовать наследие славянофилов для партийных целей Чалмаев пишет:

«Ведь есть же в сердце России тот заветный ключ, родник, который незаметно, но непрерывно рождает кристально-чистый, светоносный поток идей, чувств, так необходимых в XX веке, когда Запад уже задыхался от бездушия, избытка ненависти, рационализма мещан, культа толпы, террора безнравственного общественного мнения, создаваемого продажной прессой» (№ 3, стр. 282).

Как и следовало ожидать, партийно-чалмаевская линия сразу нашла поддержку в среде других догматиков. В журнале «Москва» № 1 за 1969 г. А. Метченко разъясняет читателю «крик души» Чалмаева как озабоченность, вызванную «нездоровыми явлениями

'западной культуры', проникающими и в нашу среду» («Современное и вечное», стр. 203).

Но особенно близки к чалмаевским позиции другого литературного критика — М. Лобанова. Без особого риска ошибиться можно предположить, что совокупность утверждений этих двух критиков составляет некую «программу» советского псевдославянофильства и содержит не столь уж завуалированные нападки на ортодоксальных марксистов и на либеральную интеллигенцию за их «космополитические» позиции.

В своей статье «Просвещенное мещанство», опубликованной в «Молодой гвардии» № 4 за 1968 г., Лобанов усматривает корень всех зол, проявляющих себя в советском обществе, в том, что мещанство оторвалось от национальной почвы, от истоков национальной культуры, от стихии народной жизни и пренебрегает историческим смыслом нации, ее местом в истории человека.

Лобанов гневно утверждает, что: «Духовная сытость — вот психологическая основа буржуа» (стр. 304) и что «мещанин только в ... рыгающем содержании и понимает мир» (стр. 305). Словом, Лобанов требует от людей творчества полного отказа от «духовной сытости» и материального благополучия, но зато, по рецепту Чалмаева, оставляет им только шовинистический национализм, основанный на одностороннем и извращенном толковании славянофильства. Кроме того, в духе почти сталинских наступлений на «космополитические элементы» советским гражданам напоминает, что: «Национальная культура для мещанства — пустой звук» (стр. 305). Она «столь же чужда мещанству, сколь соблазнительна для него международная вокзальная суетолака» (там же).

Но псевдославянские позиции Чалмаева, Лобанова и других не остались без ответа. Наиболее яростное нападение из лагеря ортодоксальных марксистов было произведено А. Дементьевым. В большой статье «О тра-



дициях и народности», опубликованной в «Новом мире» № 4 за 1969 г. (задержанном, кстати, до июля), Дементьев призывает к ответу националистов из «Молодой гвардии», обвиняя Чалмаева в том, что он —

«...пытается придать некое направление примечательному для наших дней интересу широких кругов советского общества, и особенно молодежи, к отечественной старине, древнему зодчеству, живописи и прикладному искусству, памятным событиям отечественной истории» (стр. 216).

Дементьев подчеркивает, что хотя любовь к родине и к традициям своего народа — чувство вполне естественное:

«Однако и в наше время нельзя забывать, что под флагом патриотизма, народности, национальных традиций в нашей до-революционной истории выступали самые разные — нередко враждебные друг другу — партии, течения, направления, группы вплоть до ультрареакционных и черносотенных. Наряду с патриотизмом борцов за свободу существовала народность официальная, был патриотизм «квасной» и казенный, националистический и великодержавный» (стр. 217).

Дементьев ссылается на борьбу «передовой общественной мысли в России» и ленинизма со всеми видами «псевдопатриотизма» и в связи с этим заявляет, что ни славянофилы, ни Ап. Григорьев, ни В. Ключевский, которых восхваляет Чалмаев, «не могут быть в наше время высшим авторитетом при решении вопросов патриотизма, народности, национальных традиций» (там же).

Дементьев повторяет давно устаревшее ортодоксально-марксистское утверждение, что идеализация славянофилами православия и патриархального крестьянства якобы объективно усиливала царскую государственно-политическую систему. Он соглашается с аргументом Чалмаева, что «вульгарно-социалистический

подход к проблемам культуры... сильно обедняет наше национальное культурное наследие» и что вследствие этого Скрябин, Стравинский и даже Достоевский оказались в течение многих лет в СССР под официальным запретом. Однако это нисколько не мешает ему обвинять Чалмаева и других националистов псевдославянофильского толка в том, что они —

«...исходя из своей интерпретации русской культуры, на место такого сектантского подхода к наследию ставят другой, столь же ограниченный и односторонний ... выдвигая 'мыслителей' славянофильского типа, они пытаются поколебать авторитет революционных демократов... преклоняясь перед художниками начала XX века, они недооценивают творчество передвижников» (стр. 220).

И всё же Дементьев при этом подчеркивает, что существуют и такие вещи в нашем культурном наследии, от которых советские патриоты не могут не отказаться. Как и следовало ожидать, в этот список Дементьева — ортодокса-марксиста входят: «официальная народность», «церковное и светское мракобесие», «либеральное ренегатство», черносотенство, антинигилистические романы шестидесятых-восьмидесятых годов, декаденство в литературе и искусстве и т. д.

Славянофильство, как можно понять из слов Дементьева, относится им к разряду «светского мракобесия». Между прочим, стоит отметить, что Дементьев и другие ортодоксы-марксисты зачастую почти не делают различия между славянофильством и «официальной народностью», хотя никому не следовало бы забывать, что А. Хомяков, И. Киреевский, К. Аксаков и Ю. Самарин как раз и были противниками национального эгоизма, боролись против крепостного права и цензуры и выступали за свободу совести и мнений. Всё это решительно отличало их от сторонников «официальной народности», как и от эпигонов славянофилов,

уже зараженных шовинизмом, и в большой степени роднило с их друго-врагами западниками<sup>5</sup>.

Дементьев яростно нападает на Чалмаева, Лобанова и их единомышленников за то, что они говорят о России и Западе «языком славянофильского мессианизма» и забывают марксистскую аксиому о том, что в «основе современной борьбы 'России' и 'Запада' лежат не национальные различия, а социальные...» (стр. 221).

«...Он (Чалмаев — Вл. Н. П.) знает лишь вечную, тысячелетнюю и единую Россию и 'мелководную Европу', 'бездушную Америку', 'аккуратную Данию' и т. п. В России, по его мнению, даже капиталисты являлись носителями 'общерусского неприятия капитализма' и 'общенационального протеста' против буржуазного благоденствия, на Западе же даже трудовой народ превратился в 'толпу', живущую утробными интересами, погруженную в болото мещанства» (там же).

Дементьев не задумывается обвинить Чалмаева и его единомышленников в национальном высокомерии. (Как мы уже упоминали выше, известная часть «русситов» заражена шовинизмом и даже антисемитизмом, от которых классические славянофилы были совершенно свободны).

Дементьев обрушивается также на ряд поэтов из «Молодой гвардии» за их якобы чрезмерное восхваление старинных православных церквей. На его взгляд, и статьи Чалмаева и Лобанова, и стихи на «церковную тему» — явление симптоматичное. Он отлично понимает, что наряду с настоящим интересом к национальному наследию в партии существует страх перед влиянием Запада на советскую молодежь:

«...Они (националистически настроенные критики и поэты — Вл. Н. П.), конечно, полагали, что их статьи, рецензии и стихи находятся в полном соответствии с борьбой партии против наступления буржуазной идеологии и будут способствовать патриотическому воспитанию нашей молодежи, нашего народа. Но это не так» (стр. 235).

Увы, Дементьев и его группа ортодоксальных марксистов явно недооценили степень поддержки, оказываемой «русси́там» со стороны партии. Не успели подписчики «Нового мира» прочесть статью Дементьева, как в июльском номере «Огонька» (№ 30 за 1969 г.) появилось резкое письмо, озаглавленное «Против чего выступает 'Новый мир'?', подписанное одиннадцатью авторами, в большинстве своем сотрудниками журнала «Октябрь», консерваторами партийной линии. Все они поддерживают Чалмаева, Лобанова и их группировку и считают, что многое в работе «Молодой гвардии» служит полезному делу советской контрпропаганды, так как блокирует постройку мостов между различными классовыми идеологиями:

«Мы еще и еще раз утверждаем, — пишут они, — что проникновение к нам буржуазной идеологии было и остается серьезнейшей опасностью.

Если против нее не бороться, это может привести к постепенной подмене понятий пролетарского интернационализма столь милыми сердцу некоторых критиков и литераторов, группирующихся вокруг «Нового мира», космополитическими идеями».

В то время масштаб новой «антикосмополитической» кампании казался еще незначительным, но уже к концу шестидесятых годов стало ясно, что представители этой якобы незначительной группировки пользуются поддержкой не только влиятельных лиц в партии, но и лиц определенного направления, а именно — неосталинистского. Это становится ясным, в частности, из той же статьи Дементьева, который, наряду с остальными нападка́ми, приведенными выше, нанес также удар и по поэту Феликсу Чуеву, в течение последних лет открыто восхваляющему Сталина как «организатора победы Великой отечественной войны».

В течение 1970 года националистическая линия «Молодой гвардии» получила существенную поддержку и от ряда партийных идеологов. Так, например, А. Метченко, который и раньше защищал позицию Чалмаева, выразился весьма недвусмысленно в своей статье «К спорам о народности», опубликованной в журнале «Москва» № 1 за 1970 г.:

«Опасность теории и практики 'конвергенции', 'наведения мостов' явно недооценивается в 'Новом мире'. ...Если современная буржуазная идеология... так безобидна и неопасна, то почему же столько шуму в 'Новом мире' об опасности возвращения к теориям славянофилов-крепостников (так их характеризует А. Дементьев)?!» (стр. 206).

До сих пор мы были заняты спорами между националистами, или псевдославянофилами, и ортодоксальными марксистами. Теперь перейдем к рассмотрению дискуссий между ортодоксальными марксистами и либералами, которые пытаются не подчиняться официальной линии и собственными усилиями осовременить и раскрыть наследие славянофилов.

В разгаре дискуссии о русском национальном наследии журнал «Вопросы литературы» в № 5 за 1969 год опубликовал статью молодого ученого А. Янова — «Загадка славянофильской критики». Этой статьей была открыта большая полемика о положительных ценностях славянофильства — социологических, идеологических, политических, философских и эстетических. Что же касается этических ценностей славянофильства, то, как и следовало предполагать, их в полемике почти не касались. Дискуссия, начавшаяся в мае 1969 года, продолжалась с некоторыми перерывами до конца года (см. №№ 7, 10 и 12 «Вопросов литературы»).

Кроме Янова, в этой интересной, главным образом, историософской дискуссии, касавшейся различных сторон взаимоотношения славянофильства и западничества в России, участвовало десять ученых и крити-

ков. Их можно в основном охарактеризовать следующим образом, разбив на две группы:

а) Первая группа — защитники эволюционного пути в развитии русской мысли XIX века, не нарушавшего национальных принципов;

б) Вторая — *марксисты* — защитники русского революционного наследия и пролетарского интернационализма.

В поддержку двух предложений, выдвинутых в своей статье А. Яновым, — реабилитации славянофильства и проведения серьезного и всестороннего анализа идей славянофильства, — выступили Б. Егоров<sup>6</sup>, А. Иванов<sup>7</sup>, Л. Фризман<sup>8</sup> и В. Кожин<sup>9</sup>. Все они — специалисты по истории русской литературы и общественной мысли XIX века. Вероятно, некоторые из этих участников придерживаются мнения, что улучшения государственно-политической системы СССР можно достигнуть и без революционных переворотов, то есть эволюционным путем. Поэтому и обращаются они к этическим началам русского национального прошлого и к умеренным оппозиционным действиям русского общества XIX века, в данном случае напоминая о требованиях ранних славянофилов — свободы слова и освобождения от вмешательства бюрократии.

Что касается выступления этих ученых в защиту подлинного, неизвращенного понимания славянофильства, то их позиции в известной мере напоминают взгляды Сахарова, который предпочитает легальные формы оппозиции власти, путь постепенной либерализации в духе реформ Александра II.

Прозрачные намеки этих ученых на высокие этические ценности славянофильства в некоторой степени перекликаются с мыслями А. Солженицына о нравственном социализме, который заключается в том, что общество должно развиваться во всех своих областях на этических началах.

Группа ортодоксальных марксистов базируется в этой дискуссии всё на тех же позициях «антиславянофильства», которые в свое время выдвинул Плеханов и в которых подчеркиваются «классовая сущность» и «реакционный характер» славянофильских идей. К этой группе присоединяются историки С. Покровский<sup>10</sup> и С. Машинский<sup>11</sup>, литературные критики В. Кулешов<sup>12</sup> и А. Дементьев<sup>13</sup>, о котором говорилось выше и мысли которого типичны для всей группы ортодоксальных марксистов, возглавляемой Покровским.

Несколько в стороне от обеих группировок стоят историк литературы Е. Маймин<sup>14</sup> и крупный специалист по истории русской общественной мысли С. Дмитриев<sup>15</sup>. Они пытаются примирить участников дискуссии и, противореча самим себе, равно воздать хвалу обеим группировкам. (Кстати, стоит вспомнить, что проф. Дмитриев подвергался критике за попытку найти в славянофильстве положительные ценности еще в 1941 г., см. журнал «Историк-Марксист»).

Относительно возраста участников дискуссии следует заметить, что первая группа состоит в среднем из тридцатипятилетних-сорокалетних, в то время как группа марксистов — из шестидесятилетних-шестидесятипятилетних. Поскольку доводы группы Покровского ничего нового к аргументам Дементьева не добавляют, мы сосредоточимся всецело на точках зрения первой группы. В отличие от группы ортодоксальных марксистов, чаще всего просто повторяющих аргументы Плеханова и советских историков Н. Рубинштейна и Н. Сладкевича, Янов и его сторонники основывают свои аргументы на первоисточниках славянофильства и в известной мере пытаются также использовать научные труды эмиграции и зарубежья о славянофилах.

Изучая социологическую модель славянофильства, Янов пытается восстановить правду о славянофилах и частично актуализировать их позиции. Он упорно на-

стаивает на том, что славянофилы участвовали в оппозиционном движении против бюрократического режима и подвергались цензуре не менее, чем западники, которые в большой мере восприняли многое из идей славянофилов. Янов предлагает пересмотреть явно ошибочные взгляды на славянофильство, укоренившиеся в советской науке. По его мнению, многочисленные положительные оценки ранних славянофилов, которые были даны в разное время революционными демократами Белинским, Герценом и Чернышевским, в действительности были вполне беспристрастными. Его поражает, что эти оценки находятся в остром противоречии с нападками на славянофильство советских историков и литературных критиков, смешивающих в одно славянофилов с идеологами «официальной национальности» и отказывающихся видеть в социальной модели славянофилов хотя бы малейший намек на демократизм. Янов задает вопрос:

«Но если мы действительно имеем дело с показаниями беспристрастных свидетелей — и не свидетелей даже, а участников борьбы, врагов славянофилов — и показания эти расходятся с нашим безоговорочным его обличением, то не становится ли прямой нашей обязанностью — перед собственной добросовестностью, если угодно, — одно из двух: либо доказать ошибочность этих показаний, либо признать свою собственную позицию хотя бы... не окончательной?» («Вопросы литературы» № 5, 1969, стр. 100).

В противоположность советским «русситам», Янов не занимается использованием отдельных сторон славянофильства и искажением их в угоду партии. Он пытается осовременить это движение в русской мысли и раскрыть его как пример либеральной в широком смысле этого слова борьбы против подавления мысли. По поводу отношения славянофилов к западным влияниям Янов цитирует Киреевского:



«...И что, в самом деле, за польза нам отвергать или порочить то, что было или есть доброго в жизни Запада?» (там же, стр. 107).

В этом месте нам хотелось бы напомнить Янову, что славянофилы, как и Достоевский, *воспринимали Запад как христианский мир*, и именно этим объясняется их чувство глубокого родства с историей Запада и почти беспристрастное обсуждение некоторых, на их взгляд, грустных итогов этой истории. В основе всей славянофильской критики Запада лежит их религиозное отношение к Западу: они не уставали подчеркивать, что Запад исполнил свою великую миссию, и постоянно сожалели, что ныне народы Запада утратили свое бывшее духовное единство и духовную силу. Критика западной культуры была для славянофилов переходной стадией к построению целостного общества и органического мирозерцания на основах православия. Идея синтеза европейской культуры и православия была в самом глубоком смысле слова завещанием Киреевского и Хомякова. Вот что Киреевский писал об этом в 1852 году, за четыре года до своей смерти, в своей замечательной статье «О характере просвещения Европы и его отношения к просвещению России»:

«Одного только желаю я, чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении святой Православной Церкви, проникли убеждения всех степеней и сословий наших; чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением европейским *и не вытесняя его, но напротив, обнимая его своею полнотою*, дали ему высший смысл и последнее развитие...» (выделено мной. — Вл. Н. П.)<sup>16</sup>.

Свидетельствует об этом и о. В. Зеньковский: религиозное восприятие Запада у славянофилов, — пишет он, — соединялось «с глубоким чувством русского своеобразия, неотделимого для них от Православия»<sup>17</sup>. Иными словами, критическое отношение у славянофилов к

Западу «постоянно смягчалось их христианским универсализмом» (там же).

Нельзя не согласиться с мнением Н. Бердяева, что русским принадлежат самые трогательные слова о великой культуре Запада. Хомяков называл Западную Европу «страной святых чудес». Весьма справедливо и утверждение Бердяева на эту тему:

«Величайшие русские мыслители и писатели (включая славянофилов и Достоевского — Вл. Н. П.) обличали не Запад вообще, не вообще западную культуру, а современную западную цивилизацию, безбожную и буржуазную, отступившую от своего великого пути»<sup>18</sup>.

Другой участник дискуссии литературный критик Б. Егоров тоже высказывается за серьезное изучение славянофильства, но считает, что гораздо полезнее было бы не столько спорить с инициатором дискуссии Яновым по отдельным пунктам истолкования славянофильства, как попытаться дополнить его «модель» и высказать каждому собственную точку зрения на славянофильство. Он делает очень существенное замечание, касающееся взглядов славянофилов на русский мессианизм и их противопоставление России Западу:

«Следует учесть.., что своеобразный мессианизм, уверенность в том, что именно русский народ призван указывать всем другим народам путь к идеалу, приводили славянофилов не к националистическому высокомерию, а, наоборот, к чрезвычайной требовательности к себе и к своей стране» («Вопросы литературы» № 5, 1969, стр. 132).

Обратим внимание на то, что Егоров и его единомышленники косвенно, но совершенно недвусмысленно обвиняют во лжи тех «русситов», которые пытаются извратить славянофильский мессианизм в шовинистическом направлении. Вспомним, какое различие делал Бердяев между, казалось бы, сходными явлениями национализма, империализма и мессианизма.

За границами национализма начинается уже империализм, который одновременно разделяет, порождает мировые войны — и объединяет человечество, приводит его к единству.

«Национальные движения XIX века глубоко противоположны универсальному духу средних веков, которыми владели идеи всемирной теократии и всемирной империи и которые не знали национализма»<sup>19</sup>.

При этом Бердяев решительно разграничивает отрицательный торгово-промышленный империализм от его положительной разновидности — священного универсализма<sup>20</sup>. С национализмом соприкасаются не только империализм (или универсализм), но и мессианизм. В периоды духовного подъема, например, в Германии у Фихте, или в России у славянофилов, национализм переходит в мессианизм. Несмотря на то, что националистические и мессианские чувства могут неприметно переходить друг в друга, Бердяев усматривает между ними огромную принципиальную разницу. Мессианизм, по его мнению, относится к национализму так, как второе рождение, рождение во Христе, относится к первому — во грехе. В мессианском духе постоянно проявляется «исступленное обращение к чудесному, к катастрофическому разрыву в природном порядке, к абсолютному и конечному — национализм же есть пребывание в природно-относительном, в историческом развитии»<sup>21</sup>.

Бердяев считает, что в наступающей мировой эпохе славянство и Россия будут призваны сказать миру новое слово. Однако он при этом оговаривается, что русский мессианизм «не может быть программой, программа должна быть творчески-национальной. Мессианство же есть эзоторическая глубина чистого, здорового и положительного национализма, есть безумный духовно-творческий порыв» (там же, стр. 109).

Следующий либеральный защитник славянофильства в этой дискуссии А. Иванов отрицает утверждение ортодоксальных марксистов, что относительно славянофильства уже всё сказано и решено:

«Давно пора восстановить историческую справедливость по отношению к славянофилам, давно пора развеять завесу, закрывающую плотной пеленой всё, что находится вправо от революционных демократов, завесу крошечной тьмы, в которой все кошки кажутся серыми» («Вопросы литературы» № 7, 1969, стр. 132).

В своей защите славянофилов А. Иванов идет дальше Егорова, у которого еще заметны остатки марксистского багажа. По словам Иванова:

«...зря Б. Егоров полагает, будто 'их концепции объективно не только не расшатывали самодержавно-крепостнический режим, а наоборот — содействовали его сохранению'. Картина была как раз обратной: субъективно славянофилы стремились к укреплению режима, а объективно расшатывали его» (там же, стр. 130).

В этой короткой и насыщенной мыслями статье Иванов приводит мнение Ап. Григорьева, в частности, его теорию органического критицизма в качестве следующей, более высокой стадии развития идей славянофилов по крайней мере в области литературной критики. Иванов цитирует Ап. Григорьева:

«Не искусство должно учиться у нравственности, а нравственность учиться... у искусства» (там же, стр. 137)<sup>22</sup>.

Иванов оправдывает и осовременивает борьбу Ап. Григорьева против элементов утилитаризма по отношению к литературе, которые были присущи К. Аксакову и которыми были заражены революционные демократы Чернышевский и Добролюбов. Что же касается интереса, проявляемого молодежью к славянофильству, и «своего рода возврата к старым памятникам»,

то Иванов видит на этом пути две больших опасности, о которых он считает необходимым предупредить: первая — идеализация определенных явлений прошлого, другая — «нигилистическое отношение к прошлому, рецидивы вульгарного социологизма 20-х годов, который был ярким примером отрицательного достоинства, достоинства, превратившегося в недостаток» (там же, стр. 137-138).

Следующий участник дискуссии Л. Фризман в своей статье «За научную объективность» («Вопросы литературы» № 7, 1969) соглашается с Яновым, Егоровым и Ивановым в том, что:

«Позиция славянофилов в идейной борьбе своего времени, их социологические и эстетические концепции — эти далекие пока от разрешения проблемы в последние годы все чаще привлекают к себе внимание» (стр. 138).

Он отмечает, что ими интересуются не только советские, но и зарубежные слависты, и перечисляет имена составителей ряда монографий по славянофильству — А. Валицкий, П. Христоф, Э. Мюллер, Р. Хэйр; особо при этом отмечает книгу Н. Рязановского. По мнению Фризмана, стремление изучить славянофилов за рубежом вытекает из интереса к русскому народу, к своеобразию его исторического пути; что иностранные авторы верят в то, что, изучая славянофильство, они скорее смогут разрешить загадку «русского сфинкса», что причина этого интереса лежит в «признании вклада, внесенного нашей страной в мировую культуру, в мировую историю вообще» (там же). Фризман, как и его сторонники, явно не разделяет традиционного взгляда правоверных марксистов, что почти все западные и эмигрантские труды о России, о ее истории и о русской мысли пишутся лишь с целью проводить идеологическую диверсию\*. Цитируя из «Записки о внутреннем состоянии России» К. Аксакова, Фризман замечает:

---

\* См. в конце «Примечаний». — Ред.

«...Да, славянофилы стремились избежать революционного пути развития. Но поскольку они были убеждены, что революции порождаются угнетением, что 'рабы сегодня — бунтовщики завтра; из цепей рабства куются беспощадные ножи бунта', то боязнь революции стимулировала их борьбу с угнетением, борьбу, которая достигала порой высокой обличительной силы» (там же, стр. 142).

Как пример их обличительной силы Фризман приводит слова самого К. Аксакова:

«Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью... Правительство постоянно опасается революции и в каждом самостоятельном выражении мнения готово видеть бунт» (там же)<sup>23</sup>.

Добавим от себя, что эти слова в ещё большей мере относятся к современной ситуации в России, чем к первой половине XIX века.

Фризман полностью отвергает советскую точку зрения, что появление славянофилов в России было рождено их страхом перед революцией. Согласно его мнению, славянофильство родилось после декабристского восстания и было результатом не столько страха перед революцией, сколько плодом поражения декабристского движения. Это поражение обусловило появление и западников и славянофилов, они были порождением всей той эпохи, и это во многом предопределило общность многих их идей: отрицание крепостничества, несправедливых судов, бюрократизма...

В основном Фризман прав: и славянофилы и западники были порождением одного и того же духа эпохи. Но славянофильство было сложным и многозначным явлением. Главное в нем — это интеллектуальная и религиозная сторона славянофильства. В настоящее время уже не спорят о том, что славянофилы, как и западники, были под сильным влиянием западного романтизма<sup>24</sup>. Теперь ученые спорят о том, каковы

размеры этого влияния на славянофилов, о соотношении других влияний с влиянием романтизма (в особенности, влияния восточных отцов Церкви) и о степени своеобразия русского славянофильства на фоне общеевропейского романтизма. Да, раннее славянофильство, как и раннее западничество, было детищем романтизма; или как пишет проф. Н. В. Рязановский: «не совсем достаточно говорить о влиянии романтического духа на славянофилов: было бы правильней сказать, что духовно славянофилы были частью романтического движения»<sup>25</sup>.

Пожалуй, Фрирман — единственный участник дискуссии, который открыто и честно указывает на значение религиозных взглядов славянофилов как на источник вдохновения их творческого пути. Он не только цитирует верное мнение Егорова о том, что славянофильский мессианизм отнюдь не вел к националистическому высокомерию, но идет дальше. Полемизируя с Герценом, который не раз подтрунивал над православными идеалами славянофилов, Фрирман пишет:

«...Мы можем симпатизировать борьбе славянофилов против крепостного права и недовольно морщиться, вспоминая их апологетику православия. Но в действительности славянофилы атаковали крепостничество, в числе прочего, и с позиций его аморальности, его несовместимости с учением Христа...» (там же, стр. 141).

Весьма своеобразным путем подходит Фрирман к решению «загадки» литературной критики славянофилов. Его взгляды в большой мере напоминают взгляды Иванова, но он идет несколько дальше в своей защите литературы от вмешательства идеологии. До сих пор в СССР было принято думать, что литературная критика славянофилов отражала те несущественные стороны их мирозерцания, которые скорее были родственны духу «официальной идеологии». Однако, согласно Фрирману, отношение славянофилов к литературе и

искусству было скорее вызвано сопротивлением литературы тем попыткам славянофилов, которые предпринимались для того, чтобы превратить литературу в рупор своих идей. В заключение Фризман пишет:

«...Естественно, что стремление славянофилов превратить художественную литературу в служанку своей идеологии не могло иметь успеха. И не в том только дело, что порой их голоса звучали в унисон с официозной критикой, что они лили воду не на ту мельницу. Их подход к литературе вообще находился в непримиримом противоречии с объективными закономерностями ее развития» (там же, стр. 152).

Фризман стоит на той позиции, что «литература — это форма познания действительности» и что поэтому непозволительно связывать знание с общей суммой догматов, начертанных на своих скрижалях то ли вождями славянофилов, то ли вождями какой-либо другой идеологии. Не трудно догадаться, что позиция Фризмана в такой же степени может быть отнесена и к руководству КПСС, направляющему литературу в одобренные партией каналы.

Участник дискуссии В. Кожин в своей статье «О главном в наследии славянофилов» («Вопросы литературы», № 10, 1969) высказывает следующие важные мысли: он считает, что если бы славянофилы пришли к власти, то они и не пытались бы восстановить в России допетровский общественный строй; что в действительности они лишь стремились к тому, чтобы жизнь человека и культура стали насыщенными тем подлинным содержанием, которое, согласно их мнению, органически было воплощено в допетровской и особенно в Киевской Руси и легко могло сочетаться с современными формами сознания. Кожин верно отмечает, что славянофилы настаивали на том, чтобы русский народ в своем сознании продвигался вперед, в будущее, а не назад, в прошлое (стр. 130).



С этими мыслями нельзя не согласиться. Как известно, славянофил Иван Киреевский особенно подчеркивал противопоставление XIX века — разрушительному XVIII. По мнению славянофилов, в их эпоху завершилось развитие отрицательной мысли и на смену ей близилась новая положительная эпоха, которая будет основываться на сближении религии с жизнью отдельных людей и целых народов. По словам Г. Флоровского:

«Всего менее Киреевский хотел бы возвращения во времени, восстановления старинных форм, — восстанавливать мертвые формы и смешно и вредно. Важно только 'внутреннее устройство духа'... О переходе на высшую степень Киреевский всегда говорил»<sup>26</sup>.

При этом очень важно не забывать, что для Киреевского, как и для всех ранних славянофилов, ценность русской истории и русского народа определялась высшим духовным началом, истиной православия — духом целостности и разума, коренящимися в непрерывности святоотеческой традиции.

Кожинов мужественно стремится к пересмотру места и значения славянофильства в истории русской культуры, ищет подлинного толкования учения ранних славянофилов, стремится познать причину подъема их творчества. Сравнивая славянофилов с другими мыслителями, верившими в своеобразие России, и с западниками, Кожинов приходит к выводу, что обе стороны несколько просчитались:

«'Самобытники', например, долго не признавали неизбежности развития капитализма в России. Но в то же время западники не смогли предвидеть, что общее развитие России всё же пошло по-иному, чем в Западной Европе» (стр. 117).

Кожинов оспаривает мнение Янова и некоторых других, что самым уязвимым местом славянофилов была их так называемая утопическая программа:

«...Но разве западническая идея пересадки на русскую почву европейских порядков не оказалась утопией? Или А. Янов полагает, что революции 1905 и тем более 1917 года преобразовали Россию по образу и подобию Западной Европы?» (стр. 118).

Заканчивает Кожинов свою статью призывом отбросить все ярлыки и взяться за настоящее изучение наследия славянофилов. Отметим здесь, что совсем недавно Кожинов подвергся нападкам со стороны правоверных марксистов (см. статью В. Огнева «Поиски 'духовности' или боязнь реализма?» в журнале «Новый мир» № 7 за 1971 г.).

Основная дискуссия о славянофильстве на страницах журнала «Вопросы литературы» закончилась в декабрьском выпуске 1969 года. Она завершилась заключительным ответом Янова и подытоживающей дискуссию статьей Машинского, который в качестве представителя марксистской группировки не отказался от утверждения, что «нашими идейными предшественниками были не Хомяков с Самаринным и не братья Аксаковы с братьями Киреевскими, а Белинский и Герцен, Чернышевский и Добролюбов...» (стр. 140). Однако он всё-таки допускает, что «загадка» славянофильства до сих пор не разрешена и заслуживает дальнейшего изучения. В заключение Машинский даже высказывает весьма полезное для нашей литературы пожелание:

«Среди славянофилов были крупные мыслители. Нужно издавать тщательно комментированные их сочинения; необходимы коллективные сборники, в которых ученые с разных сторон могли бы серьезно исследовать эту большую и интересную проблему...» (стр. 138).

Если бы это пожелание действительно исполнилось, то можно было бы сказать, что успех дискуссии о славянофильстве заключался в том, что пятеро сравнительно молодых ученых — А. Янов, Б. Егоров, А. Иванов, Л. Фризман и В. Кожинов — разрушили полуве-

ковой запрет власти, наложенный на беспристрастное и свободное изучение славянофильства. Вероятно, такое достижение помогло бы разрушить и другой запрет, наложенный властью на религиозно-философский ренессанс XX века, поскольку во время дискуссии о славянофильстве оппоненты-марксисты неоднократно угрожающе напоминали либералам о том, что «веховцы» и особенно Бердяев ведут свою духовную генеалогию от раннего славянофильства.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Недавно стало известно, что существует самиздатовский перевод на русский язык английской книги эмигрантского ученого Н. Зернова, посвященной русскому религиозному возрождению начала XX столетия. Есть основания думать, что некоторые современные русские ученые знакомы с фундаментальным трудом по истории религиозно-философской мысли в России Г. Флоровского «Пути русского богословия», Париж, 1937.

<sup>2</sup> Г. Флоровский. Пути русского богословия, стр. 253.

<sup>3</sup> Н. Устрялов. Политическая доктрина славянофильства. Известия Юридического Факультета в Харбине, 1925, т. I, стр. 64.

<sup>4</sup> См. статью Д. Поспеловского «Этика и история. Историософские тенденции в Самиздате», «Грани» № 81, стр. 154. А также книгу P. Reddaway. *Uncensored Russia*. London, 1971.

<sup>5</sup> См. на эти темы: В. В. Зеньковский. История русской философии. YMCA-PRESS, Париж, 1948, т. I; Русские мыслители и Европа, YMCA-PRESS, второе издание, Париж, 1955; С. Жабба. Русские писатели и мыслители. YMCA-PRESS, Париж, 1952; В. А. Рязановский. Обзор русской культуры. Нью-Йорк, 1947, ч. II, выпуск первый.

<sup>6</sup> «Проблема, которую необходимо решить», «Вопросы литературы» № 5, 1969, стр. 128-135.

<sup>7</sup> «Отрицательное достоинство», «Вопросы литературы» № 7, 1969, стр. 129-138.

<sup>8</sup> «За научную объективность», «Вопросы литературы» № 7, 1969, стр. 138-152.

<sup>9</sup> «О главном в наследии славянофилов», «Вопросы литературы» № 10, 1969, стр. 113-131.

<sup>10</sup> «Мнимая загадка», «Вопросы литературы» № 5, 1969, стр. 117-128.

<sup>11</sup> «Славянофильство и его истолкователи», «Вопросы литературы» № 12, 1969, стр. 102-140.

<sup>12</sup> «Славянофильство, как оно есть...», «Вопросы литературы» № 10, 1969, стр. 131-144.

<sup>13</sup> «Концепция», «конструкция» и «модель», «Вопросы литературы» № 7, 1969, стр. 116 - 129.

<sup>14</sup> «Нужны конкретные исследования», «Вопросы литературы» № 10, 1969, стр. 103-113.

<sup>15</sup> «Подход должен быть конкретно-исторический», «Вопросы литературы» № 12, 1969, стр. 73-84.

<sup>16</sup> И. Киреевский. Полное собрание сочинений в двух томах, под ред. М. Гершензона, Москва, 1911, т. I, стр. 221-222.

<sup>17</sup> В. Зеньковский. Русские мыслители и Европа. Стр. 76-77.

<sup>18</sup> Н. Бердяев. Восток и Запад. «Путь» № 23, Париж, август 1930, стр. 103. См. также книгу Н. Полторацкого. Бердяев и Россия. Нью-Йорк, 1967, стр. 124-157.

<sup>19</sup> Н. Бердяев. Конец Европы (в сборнике «Судьба России»). Москва, 1918, стр. 118.

<sup>20</sup> Н. Бердяев. Национализм и империализм. Там же, стр. 112.

<sup>21</sup> Н. Бердяев. Национализм и мессианизм. Там же, стр. 105-106.

<sup>22</sup> Ап. Григорьев. Литературная критика. Изд-во «Художественная литература», Москва, 1967, стр. 407-408.

<sup>23</sup> К. Аксаков. Записка о внутреннем состоянии России, 1855 г. См. Н. Л. Бродский. Ранние славянофилы. Москва, 1910, стр. 72.

## СПОРЫ О СЛАВЯНОФИЛЬСТВЕ

<sup>24</sup> На эту тему см. Ф. С т е п у н. Немецкий романтизм и русское славянофильство. «Русская Мысль», март 1910 г. стр. 65-91. Также: N. V. Riasanovsky, *Russia and the West in the Teaching of the Slavophiles*. Harvard, 1952.

<sup>25</sup> N. V. Riasanovsky, там же, стр. 166. Перевод мой. — Вл. Н. П.

<sup>26</sup> Г. Ф л о р о в с к и й. Пути русского богословия. Стр. 257-258.

---

\* В своей статье «Фальшивая схема и неопровержимые факты» М. Кузьмин и В. Сергеев («Вопросы литературы», № 4, стр. 100-111) пытаются «разоблачить» книгу С. Карлинского (Simon Karlinsky. *Marina Tsvetayeva. Her life and Art.* „University of California Press“, Berkley and Los Angeles, 1966, p. 5):

«... С помощью исторической аналогии, ставшей излюбленным методом в «советологических» сочинениях, этот «специалист» устанавливает параллели между историей Советского государства 20 — 30-х годов... и периодом правления Николая I. Ничто же сумняшеся, С. Карлинский уверяет, будто отношение партии и Советского правительства к писателям было таким же, как и отношение к ним со стороны русского самодержавия первой половины XIX века» (стр. 102).

# Библиография

## О «НЕПОСТИЖИМОМ»

В Мюнхене в издательстве Франка недавно вышло второе стереотипное издание книги С. Л. Франка «Непостижимое», Русская научная библиотека, Париж, 1939.

Эта книга, на наш взгляд, одно из самых глубоких творений русской философии. В ней нет бердяевского блеска и оригинальности мысли, в ней нет безоглядной систематичности Лосского, в ней нет страстной самоуверенности Шестова и Ильина. Она ждет читателя, который готов потрудиться над философией, а не только «интересуется» ею. Во вступлении сам Франк пишет, что «проникновение в более глубокие связи реальности требует напряжения мысли, не всем доступного, и новые мысли по существу не могут быть выражены иначе, чем в новых словах». Но вместе с тем книга написана связно и ясно, и тот, кто возьмет на себя труд следовать за мыслью автора, будет вознагражден проникновением в тот глубинный пласт бытия, в который извечно стремится проникнуть философ.

Ибо жизнь мыслящего человека, жизнь философа есть всегда погружение в тайну, есть всегда осознание собственного незнания. Но не того, о котором с такой тоской сказал Тютчев:

Увы, что нашего незнанья  
И беспомощней и грустней?  
Кто смеет молвить: до свиданья!  
Чрез бездну двух или трех дней?

Нет, у Франка речь идет о другом. Не о нашем бедном незнании, а о непостижимом по существу, о том, что по самой структуре мира трансрационально и металогично, о том, что лежит за сферой рационального логического познания.

Казалось бы, что можно сказать о непостижимом? «Непостижимое непостижимо...», ну а дальше? И вот оказывается, что о нем можно написать целую толстую книгу, которая оказывается онтологическим введением в философию религии.

## БИБЛИОГРАФИЯ

И скажем сразу: непостижимое, глубинную тайну бытия не надо смешивать с засекреченным или еще не постигнутым. Франк очень ясно показывает, что только в силу особенностей нашего воспитания и культуры «мир и вся реальность представляются нам чем-то, что либо уже знакомо, либо может стать знакомым, что в принципе всё может быть познано, что законы рассудочной логики действуют везде, что они отражают действительность, которая, следовательно, тоже подчиняется законам логики». Но так ли это?

Франк утверждает, — и утверждение это философски безусловно, — что «абсолютное верховенство логического, рассудочного объяснения не может быть логически же доказано, ибо всякое доказательство опирается само на веру в абсолютную, окончательную компетентность чисто рациональной мысли».

И в самом деле, ограниченность сферы применения логики становится очевидной, если хоть немного задуматься над всем объемом нашего знания. Ведь то, что мы знаем, например, из произведений великих художников, нельзя полноценно выразить с помощью научных понятий. То, о чем рассказал человечеству Кафка своим «Процессом» или Достоевский своим «Идиотом», нельзя повторить в форме логического трактата, хоть оба романа могут служить неисчерпаемой темой и для научного исследования и для философского осознания мира. То, что мы узнаем, слушая музыкальную симфонию, металогично по природе. Оно не противоречит логике, но выводит нас за пределы рационального, погружает в «непостижимое уму».

И Франк хорошо понимал это уже в начале своего философского пути, когда писал затем напечатанную в Москве в 1915 г. диссертацию «Предмет знания. Об основах и пределах отвлеченного знания». «В сущности, — писал он там, — мы имеем не одно, а два знания: отвлеченное знание о предмете, выражаемое в суждениях и понятиях — значение всегда вторичного порядка, прошедшее сквозь призму нашего анализирующего и логизирующего сознания — и непосредственную интуицию предмета в его металогической цельности и сплошности — первичное знание, на котором основано и из которого вытекает отвлеченное знание».

Наша душа в ее органической цельности и слитности с окружающим миром знает гораздо больше, чем наше сознательное «я». Но это первичное знание может лишь неполно и условно выразиться в понятиях и суждениях, из которых строится наша наука. Выразимость означает здесь способность отразить, перевести непосредственное живое знание на язык логических понятий. По Франку, «между первичным и вторичным знанием нет логического тождества, а имеет силу лишь отношение, которое мы называем 'металогическим соответствием' или сходством, и которое, как всякое сходство, предполагает также и различие».

Эту позицию Франка не следует называть агностицизмом. Скорее напротив. Несовершенство нашей науки не означает ее негодности. Вся история развития конкретного знания безусловно есть история преодоления заблуждений. Каждый ученый знает, что представления его предшественников заменены другими, более совершенными. Наши научные представления устаревают, и история человеческой мысли не знает гениев, которые не заблуждались бы. Ни философ, ни ученый, ни художник заведомо не может адекватно выразить описываемый им предмет. «Всякая вещь и всякое существо в мире, — пишет Франк, — есть нечто большее и иное, чем всё, что мы о нем знаем и за что его принимаем — более того: есть нечто большее и иное, чем всё, что мы когда-либо сможем о нем узнать; а что оно подлинно есть во всей своей полноте и глубине — это и остается для нас непостижимым».

Непостижимым, но вместе с тем всем существом нашим глубинно и таинственно постигаемым. Ибо за всем несовершенством ведения мысли, построения образа и формы научного, философского, богословского и художественного видения и выражения всегда стоит усмотрение самого предмета во всей его непостижимой полноте, слитности и сплошности.

Теория знания у Франка теснейшим образом связана с теорией бытия. Его гносеология онтологична. Ее наибольшая трудность есть одновременно и наибольшее ее достоинство. Ход его мысли нельзя отнести ни к рационализму, ни к иррационализму. Он ясно указывает на пределы разумного знания, не стано-



## БИБЛИОГРАФИЯ

вась от этого агностиком. В «Предмете знания» он утверждал, что есть два слоя мыслимого: «Система определенностей, выражаемая в системе понятий — это знание отвлеченное; и есть основа этой системы определенностей — исконное единство или всеединство».

В «Непостижимом» он идет дальше и говорит, что «неведомое и запредельное дано нам именно в этом своем характере неизвестности и неданности с такой же очевидностью и первичностью, как и содержание непосредственного опыта».

Книга «Непостижимое» разделена на три части. Часть первая: Непостижимое в сфере предметного знания; часть вторая: Непостижимое, как самооткрывающаяся реальность; часть третья: Абсолютно непостижимое: «Святыня» или «Божество».

«Что непостижимое как таковое непостижимо, это возражение, которое неблагоприятно настроенный читатель заранее готов с уничтожающей усмешкой противопоставить самому замыслу нашего исследования», — пишет Франк, заканчивая свою книгу. Он признает, что это возражение есть истина, но «истина столь же бесспорная и столь же глупая в своей бесспорности, как мудрое поучение Козьмы Пруткова, что нельзя «обнять необъятного». Козьма Прутков и следующий его мудрости неблагоприятный читатель даже не подозревают, какая проблематика заложена в самой возможности для нас произнести слово «непостижимое» (или «необъятное»), то есть иметь эту идею и это понятие о нем. Ибо, произнеся это слово, образовав эту идею, мы уже тем самым «обняли» «необъятное», уловили, восприняли и в этом смысле постигли «непостижимое».

Франк продолжает мудрость Сократа, по слову Дельфийского оракула, потому и мудрейшего из греков, что он знал, что ничего не знает. Как все великие умы, Франк остро чувствовал, что в основе мира лежит не загадка, которую можно разгадать, не секрет, который можно рассекретить, но тайна, которая таинственна по самой своей природе и может постигаться только как тайна, то есть без нарушения ее таинственности, без перевода на язык логических объяснений и построений. Следуя за Николаем Кузанским, Франк говорит, что

*«непостижимое постигается через постижение его непостижимости».*

Тот, кто понял, что слово «тайна» должно применяться только к тому, что навеки останется тайной, знает о природе мироздания больше, чем тот, кто воображает, что мы не знаем чего-либо только по нашей глупости. «Постижение непостижимости непостижимого» есть шаг вперед по отношению к наивному убеждению, будто непостижимое и непостигнутое — одно и то же.

Книга Франка о «Непостижимом» — логический философский анализ форм и слоев того, что лежит за пределами логического и философского знания. Он обозначил свою работу как «онтологическое введение в философию религии», но книгу можно было бы назвать и своего рода гносеологической онтологией или онтологической гносеологией.

«Непостижимое» — зрелое повторение и развитие основной интуиции Франка, намеченной уже в «Предмете знания», но доведенной до порога абсолютного. И мы позволим себе привести, несмотря на всю ее трудность, цитату из центральной главы центральной части книги «Первооснова, как Святыня, ('Божество')». Цитата эта относится к третьей части книги об абсолютно непостижимом и как бы венчает собой наше умудренное непостижение, — отнюдь не незнание и не непонимание как сокровенного в сфере предметного знания, так и непостижимого как непосредственного самобытия.

Об этой сокровенной первооснове мира Франк пишет: «Первооснова есть, таким образом, по самому своему существу нечто безусловно парадоксальное, невероятное, рационально непостижимое — именно антиномическое. В этом отношении первооснова есть по существу непостижимое и притом как бы в предельно-максимальной мере непостижимое. В этом единстве непреодолимой сокровенности и внутреннесущностной и притом глубочайшей трансрациональности первооснова есть безусловно непостижимое, или непостижимое в наивысшей мыслимой его потенции — как бы глубочайшая точка, в которой сходится всё непостижимое в своей непостижимости и из которой оно проистекает — более того, самый принцип, образу-

## БИБЛИОГРАФИЯ

щий существо непостижимости, как таковой. Первооснова есть глубочайшая исконная первотайна реальности, как таковой — тайна, которая во всей своей непостижимости, непонятности, неразрешимости всё же с полной очевидностью открывается духу, сознающему свои собственные глубины, или точнее, открывается ему как сама очевидность, как сама абсолютная правда».

«В отношении этой глубинной, всеобъемлющей, сверхбытийственной реальности ... все слова, все именованья суть 'шум и дым'. Какое бы слово мы здесь не употребили, оно всё равно будет неадекватно таинственной непостижимой глубинности и всеобъемлющей полноте того, что мы здесь имеем в виду, будет в какую-то сторону исказить или сужать его существо, будет подменять его неизреченную сущность.... неадекватным ему аспектом чего-то предметно сущего и имеющего определенное содержание».

Работа Франка отнюдь не умаляет ценности и практической полезности рассудочного знания. Но она указывает на его заведомую неадекватность предмету. Наше рассудочное знание всегда статично и механично. Оно стремится объяснить целое как сумму частей, движение как последование неподвижных моментов. Оно всегда редуцирует сложное к простому и непонятное к понятному. Этот вид знания имеет немалую практическую ценность, ибо он дает нам схемы действительности, удобные для практической ориентации и практического воздействия на окружающую среду. Разделив любой момент мысленно на составные части, уподобив его механизму, мы приспособливаем его к своим потребностям. И Энгельс был прав, когда объявил, что такого вида знание проверяется прежде всего практикой.

Но по Франку, мы не имеем права выдавать обработанную таким образом картину мира за адекватное отображение действительности. Рассудок хорошо рассуждает о жизни, но не в силах понять ее. Понимающий это становится ближе к таинственным глубинам бытия. В этом смысл и ценность книги Франка о «Непостижимом».

*Роман Редлих*

## «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПРИ ЛЕНИНЕ И СТАЛИНЕ.

1917 — 1953»

В качестве предпосылки к рецензии хочется заметить, что, по нашему убеждению, каждый человек в той или иной мере, зачастую подсознательно, субъективен в оценке любых явлений. Поэтому даже так называемые беспристрастные высказывания в действительности выражают определенную точку зрения одного или нескольких лиц на данный предмет. Применительно к советской литературе, где это особенно чувствуется, сказанное выше означает, что критики в ее оценке занимают подчас совершенно различные позиции, — результат не только их отношения к реальности, но и симпатий или антипатий.

Г. Струве прямо пишет: «Читатель легко поймет, что я не питаю симпатий к нынешнему режиму в России» («Русская советская литература 1917-1950», Оклахома, 1951), — и в то же время отвергает критику, связывающую это его отношение к советской власти с его подходом к советской литературе. И всё-таки, скорее всего именно этим можно объяснить известную направленность, иногда сквозящую в его работах (при всех их преимуществах).

Остановимся на последнем его издании: «Русская советская литература при Ленине и Сталине. 1917-1953», Оклахома 1971. Как и все предыдущие работы Г. Струве, эту книгу, помимо богатства фактов и дат, отличает также систематический подход и разработка отдельных глав.

Вместе с тем, нельзя не обратить внимания и на недостатки книги. Весьма смелым является, например, утверждение Г. Струве: «The present book is a considerably revised version of the 1951 book»\* (стр. VII), тогда как уже при поверхностном взгляде заметно, что почти всё здесь дословно переписано с издания 1951 года. Кое-где автор, конечно, внес поправки и изменения:

---

Gleb Struve. Russian Literature under Lenin and Stalin. 1917 — 1953. University of Oklahoma Press, Norman 1971.

\* Настоящая книга есть основательно переработанное издание 1951 г.

## БИБЛИОГРАФИЯ

так, в новом издании больше сведений об А. Веселом и С. Семенове; добавлены краткие характеристики жизни и творчества Ал. Грина, Н. Заболоцкого, П. Васильева и Б. Корнилова; введена новая глава: «Самовосхваление и контроль над мыслями». В отличие от издания 1951 г., Г. Струве подробно, приводя много имен и фактов, остановился на главе: «Послевоенный роман». Значительно расширен (по сравнению с тем же изданием 1951 г.) библиографический отдел, как за счет работ, вышедших после 1951 года, так и за счет более полного обзора изданий, советских и зарубежных, вышедших до 1951 года. Следует отметить также современную систему расположения имен и биографических данных на полях страниц. Такой порядок значительно облегчает поиски нужного места. В старом издании те же «ключи» даны в виде заглавий, что не столь удобно для работы с книгой. В новом издании автор в статье о Л. Леонове подробно останавливается на его романе «Бруски» и в особенности на сказовой манере при передаче Леоновым повествований староверов (стр. 101 - 102).

Список можно было бы продолжить приведением еще ряда примеров работы автора над изданием, — и тем не менее всё это не оправдывает утверждения: «considerably revised version».

Что касается идейного содержания книги, то, как мы уже говорили, она является не только богатым источником фактов, но и их многостороннего (однако не всестороннего) освещения; к тому же книга содержит в себе решительную и меткую полемику с советскими литературоведами.

Примером тому, как Г. Струве старается не изменять своему принципу объективности, может послужить его характеристика книги А. Серафимовича «Железный поток»: «В романе изображаются героические подвиги борцов за революцию, но показывается также их холодность и нерассуждающая жестокость» (стр. 151).

Другой пример — вопрос о возвращении А. Н. Толстого из эмиграции в большевистскую Россию. Разумеется, для большей полноты данных Г. Струве мог бы привести опубликованное в апреле 1921 г. письмо А. Толстого к Н. В. Чайковскому, в котором писатель дает мотивировку своего решения. Однако отсут-

ствие этого факта в книге Струве еще не дает советской критике права обвинять автора в подтасовке фактов, к стремлению «свети весь вопрос с возвращением А. Толстого на родину к чисто материальным соображениям» (А. Беляев, стр. 195, «Москва» № 5, 1971). В том-то и дело, что Г. Струве и здесь указывает на многосторонность проблемы: «Это решение было также связано с возникшим среди эмигрантов движением 'за перемену границ', когда сравнительно небольшое число из них — ученые, писатели и журналисты — решили склониться перед Революцией» (стр. 141). Так что обвинение в тенденциозной подтасовке фактов скорее можно отнести к произнесшему его советскому критику А. Беляеву.

При всей ценности книги, однако, есть в ней места, которые не удовлетворяют. Описывая сложную обстановку, царившую в предреволюционной (с начала XX века до Октября 1917 г.) русской литературе, Струве много внимания уделяет символизму, приписывая ему (а в его лице и прочим декадентским группировкам) главенствующую роль в литературе данного периода (с чем тоже не обязательно нужно соглашаться), — и более чем скупно отзываясь о таких величинах реализма, как Горький и Бунин, уже тогда пользовавшихся не только в России, но и за границей (Горький) большой популярностью.

Несколько противоречиво отношение Г. Струве и к таким писателям как А. Белый, Б. Пильняк, Е. Замятин. С одной стороны, он указывает на их несомненное влияние на молодую советскую литературу, на своеобразность их собственных произведений, а с другой стороны, в предыдущих главах, он показывает их в весьма невыгодном освещении. О Белом: «Слишком безответственный в моральном и политическом смысле слова, чтобы принимать его всерьез» (стр. 7); о Б. Пильняке: «...его произведения обнаруживают много недостатков: он почти лишен чувства формы, путаная композиция его произведений становилась еще запутанней от мелкой «философии истории» автора., многое в его творчестве носит характер литературщины и не является самостоятельным...» (стр. 42).

Тем не менее Струве очень подробно останавливается на произведениях и влиянии вышеназванных писателей, что было

бы не предосудительно, если бы это не шло за счет поверхностной, близкой к замалчиванию трактовке некоторых других произведений советских авторов. Всего несколько строк уделено таким (пусть даже спорным) «бестселлерам», как «Чапаев» Д. Фурманова (стр. 94), таким выдающимся по их значению для молодой советской драматургии пьесам, как «Любовь Яровая» К. Тренева, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова и т. д. (стр. 201). Ни их содержание, ни идеи, ни причины успеха не затрагиваются. А ведь интересно было бы хотя бы наметить, где кончается «успех» по велению партии и начинается чувствоваться настоящая заинтересованность у зрителя или читателя.

Почти телеграфным стилем упоминается и военная поэзия А. Прокофьева, Е. Долматовского, С. Щипачева, А. Твардовского. Мало места уделено А. Фадееву («Молодая гвардия»).

Трудно согласиться с Г. Струве, который видит в романе В. Катаева «Белеет парус одинокий» всего лишь «свежесть», «приключения», «детскую психологию», «одно из лучших произведений для детей» и крайне скупое упоминает ту проникающую во все мелочи быта атмосферу революционной Одессы, которой пропитана повесть. Ведь здесь не просто картинка из детского быта, а последовательное, политически направленное повествование о надвигающейся революции, со всей типичной для подобных тем тенденциозностью. И лишь талант Катаев-рассказчика, его богатый, красочный язык придали повести то обаяние, благодаря которому она полюбилась читателю.

Как мы уже сказали, недостатки в книге Г. Струве есть. Это, однако, не может умалить ее достоинства как важного пособия для студента-слависта, а также и для массового читателя, желающего пополнить свои знания из области русской советской литературы. Автор не только охватил все сколько-нибудь важные литературные течения, но даже сумел показать одних и тех же литераторов в разных стадиях их творческого развития или спада. Замечания и комментарии его к отдельным произведениям или явлениям зачастую (но не всегда!) носят объективный, зрело-научный характер, без намека на беллетристическую пристрастность, как это иногда бывает у литературоведов. В тех же местах, где у него пробивается стремление

показать событие в определенном свете, без учета всех тех штрихов, которые могли бы нарушить эту картину, Струве грешит неточностями. К счастью, таких мест немного и они не могут затмить несомненной ценности всего произведения.

Ж. Бай

## МИФ «САМОБЫТНОСТИ» И РЕАЛЬНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

В 1968 году вышел под редакцией Д. С. Лихачева тринадцатый том «Трудов Отдела древнерусской литературы», в основном посвященный литературным связям древних славян.

В области истории древнерусской литературы три статьи сборника представляют особый интерес.

Первая из них (Э. М. Шустрович, «Хроника Иоанна Малалы и античная традиция в древнерусской литературе», стр. 62) касается вопроса влияния античной мифологии и истории на культуру и литературу Древней Руси. Киевская Русь переняла, косвенно и непосредственно, целый ряд произведений исторического и мифологического характера у Византии (например, «Хронику Иоанна Малалы», «Хронику Герогия Амартола», «Александрию» и т. д.). Как известно, у Руси полностью отсутствовали какие-либо органические связи с античной мифологией, на изучении которой в значительной степени строилось образование в христианской Византии.

Чтоб оправдать в своих собственных глазах такое не очень ортодоксальное занятие, византийцам приходилось прибегать к различным хитростям, самой распространенной из которых являлось низвержение богов с Олимпа на землю и их превращение в чисто исторические лица, наделенные всё же некоторой склонностью к чародейству. При этом даже самые безобидные и забытые превращались в злобных магов и колдунов.

---

Литературные связи древних славян. Труды Отдела древнерусской литературы, т. XIII. Изд-во «Наука». Ленинград, 1968.



## БИБЛИОГРАФИЯ

Русская древняя письменность получила в наследство эту концепцию личности античных богов.

Но у Киевской Руси была своя весьма живая мифология. Индоевропейский характер этой мифологии помог развитию процесса как бы обратной ассимиляции. Дажьбог, например, отождествлялся с Гелиосом, но последний у греков уже не считался богом, а просто правнуком земного злого царя Зевса. Таким образом, русские, как известно из «Слова о полку Игореве», «Дажьбожьи внуки», приспособлялись ко всемирной истории, обретали для самих себя историческое прошлое, которое приравнивало их к культурной Византии.

Однако этот процесс обратной ассимиляции славянских богов, еще далеко не полностью перекочевавших из темных областей природных стихий и подсознательных иррациональных мифов, выводил их на уровень понятий, воспринимаемых уже не религиозно-мифически, а рационально-исторически, превращал их в простых смертных, подобных тем кудесникам, с которыми ожесточенно боролись церковные власти, и тем самым предрешал победу над ними.

Как пишет автор статьи: «Параллели и отождествления не только помогали древнерусскому читателю в освоении элементов античной культуры, но в первые века христианизации Руси выполняли определенные антиязыческие функции» (стр. 67).

Можно сожалеть, что Э. М. Шустрович развил свою мысль исключительно в историческо-филологическом отношении, не заглянув в область психологического и религиозного восприятия описанных им явлений.

Как отмечает это в своей статье («Алексей Человек Божий в славянской рецензии византийской культуры», стр. 124-125) М. Ф. Мурьянов: «По известной догме, в глухо закупоренную Русь имелся только один путь, и притом тот самый, который был предназначен для снабжения ее византийским православием в его безукоризненной чистоте, с дополнительной возможностью посредничества болгар в переводах с греческого языка». Само собой разумеется, автор с этой догмой не согласен и на частном примере старается доказать ее несостоятельность.

Дело в том, что, изучая фрески новгородской церкви Спаса-Нередицы (разрушенной во время войны), он обратил внимание на две особенности их иконографии. Во-первых, в абсиде храма Божией Матери предстоит с правой стороны Алексей Человек Божий, что весьма необычно в России этих времен. Во-вторых, в нижнем ярусе, прямо под Алексеем, изображен св. Венедикт, причем его имя начертано *Бенедикт*, на западный лад.

По всей вероятности, храм был расписан в самом конце XII века, и в эту эпоху изображение св. Венедикта не только почти не встречается в восточной иконографии, но и на Западе обнаруживается фактически только в монастырях Бенедиктинского ордена.

По мнению автора, необычные изображения фресок храма Спаса-Нередицы объясняются влиянием монахов бенедиктинцев на новгородского князя Ярослава. «Соседство фресок святых Алексея и Бенедикта говорит о многом. Очагом культа св. Алексея на Западе был римский монастырь св. Бонифация на Авентинском холме, где совместно с бенедиктинцами жили беглые греки, покинувшие Византию при иконоборческих гонениях... Новгородская фреска св. Бенедикта свидетельствует, что инициатором включения в программу росписи сюжета Алексея Человека Божия был бенедиктинец, врачевавший душу строителя Спаса-Нередицы князя Ярослава, только что перенесшего смерть сыновей» (стр. 120-121).

Нужно отметить, что влияние западного (в частности, романского) искусства на русское подчеркивает не один М. Ф. Мурьянов. Мировой специалист-искусствовед А. Грабарь\*) также очень последовательно настаивает на влияниях западной иконографии и архитектурных приемов на древнерусскую фресковую роспись и архитектуру. Надо признать, что до сих пор его взгляды встречали весьма мало сочувствия в советской научной среде.

---

\*) А. Grabar. *L'art du Moyen Age en Europe Orientale*. Paris 1968. Pp. 93-94.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Культуры западной и восточной Европы в XII веке еще имели много общего и их взаимное влияние могло осуществляться относительно легко. В XIV веке положение было уже совсем иное. Дело тут, пожалуй, не в татарских завоеваниях, якобы отрезавших Россию от культурного мира (внимательное изучение источников явственно показывает, что «монгольский железный занавес» — один из тех мифов, которыми донельзя насыщена русская историография), а в том, что в культурно-религиозном плане мировоззрения католиков и православных уже много веков развивались в разных направлениях и уже столь отдалились одно от другого, что сделали «де факто» всякое взаимопроникновение почти невозможным.

XIV и отчасти XV век являются тем периодом истории России, когда ее единственной учительницей осталась Византия. В Византии в XIV веке, после трудной борьбы со сторонниками иного направления, укрепилась и успешно развивалась духовная школа исихастов, самым ярким представителем которой явился св. Григорий Палама. Разница между учением Григория и его противников — «казалось бы, в неуловимых нюансах, но она отражала существенное различие средневековых культур: в одной (западноевропейской) — резкое противопоставление идеально-духовного материальному, неба — земле; в другой (византийской) взаимопроникнутость одного другим: конечного, смертного — бессмертным и бесконечным... Разницу мировосприятий «гуманиста» и «исихаста» можно уподобить разнице эвклидова и неэвклидова (Лобачевского-Римана) пространства. В мире гуманиста есть перспектива, и бесконечность в нем иллюзорна и бесконечно далека. Для исихаста же бесконечность («божественная энергия») рядом, в нем, и в ней могут пересекаться «параллельные». Во всяком случае, разница этих мировосприятий имеет отношение к разнице в «пространствах» мира восточноевропейской иконописи и того мира, который был уже зачат на западе Европы Петранкой (другом и учеником Варлаама\*) и который зримо сформируется под кистями живописцев Ренессанса» (Г. М. Прохоров. «Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в.», стр. 93-94.).

---

\*) Противник Паламы.

Этих двух цитат достаточно, чтобы показать, что автор статьи «Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе» Г. М. Прохоров отлично владеет своим предметом и не смущается анализом богословских систем, что весьма похвально для «советского» исследователя! Он очень кстати использует источники и работы современных западных историков и богословов об исихазме (в частности, блестящую книгу о. И. Мейендорфа: J. Meyendorff. Introduction à l'étude de Grégoire Palamas. Paris 1959).

Автор убедительно показывает, как важно изучение влияния исихазма на русскую духовную культуру и даже на общественную жизнь и как оно до сих пор мало изучено: один из примечательных пробелов исторической науки в этом отношении — изучение деятельности константинопольского патриарха Филофея Коккина (1353-1354, 1364-1376). «Для истории России патриарх Филофей важен не только как борец за православию и активный церковный политик, на рубеже 1375 и 1376 годов (за несколько месяцев до заточения) рукоположивший Киприана в русские митрополиты при живом еще Алексее, но и как литератор, поэт. Более тридцати его произведений (по крайней мере часть из них, в переводах Евфимия Тырновского, митрополита Киприана и Феодора, племянника Сергия Радонежского) широко распространились в русской письменности, и сейчас они покоятся в списках XIV-XIX вв. на полках рукописных собраний, ожидая своего исследователя» (Г. М. Прохоров «Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в.», стр. 96-97).

Влияние исихазма стало заметным на Руси в середине XIV века, и автор приписывает ему целый ряд явлений русской истории, в частности, оживление творческой и чисто практической деятельности русских иерархов. Под влиянием исихазма складывается «своеобразный тип общественного деятеля». «Это, как правило, монах-созерцатель-практик, но одновременно теоретик, «философ»; при этом он может быть писателем, переводчиком или иконописцем. Он нередко занимает тот или иной общественный пост (либо в церковной администрации, либо в качестве главы сплоченной вокруг него монашеской общины) и принимает активное участие в социальной, в том числе и по-

## БИБЛИОГРАФИЯ

литической, жизни» (стр. 99). Исихазм имел также решающее значение в процессе развития нового типа монашеского общежития, обуславливал новые веяния в искусстве и литературе. Заклучая свою статью, Г. Л. Прохоров замечает, что исследования по всем этим вопросам еще только начинаются.

Дай Бог, чтоб историческая деятельность советских исследователей упрочилась и развивалась далее на том высоком уровне, на котором она себя показала в этой книге «Трудов Отдела древнерусской литературы»!

*Д. Руднев*

### МУЗА ПОЕТ В ЛУЧЕ

«Метафоры» — третья книга стихов Игоря Чиннова. Первые два его сборника «Монолог» и «Линии» вышли: первый — в 1950 г., второй — 1960 г.

В них видна большая работа над стихом, чуткое восприятие жизни. Третий сборник свидетельствует уже о вполне сложившейся личности поэта и о его смелом новаторстве.

Часто Чиннов пользуется белым стихом, вводя в него иногда рифмы и доказывая своим мастерством, что рифма вовсе не является непременным условием стихотворения.

В его поэзии всегда присутствие двух чуждых друг другу миров. Один — «чуждый Содом», «страшные Галактики», «земное гноище», «вечная каторга глухих законов мироздания» — «законы логики и алгебры». Чиннов болезненно переносит этот мир «инерции, тяжести и тяготения». «Позабудь о грязи и безобразии, / позабудь о вечном зле», потому что есть другой — чудесный мир, где «светит 'беспричинное сияние'», преображающее всё, к чему ни прикоснется. «Давайте жить не по часам, / а по листьям... / ...менять, когда захочется, времена года», — говорит он.

В этом мире не кажется странной «музыка прохлады», не кажется противоестественным глядеть «на розовый шорох в

---

Игорь Чиннов. Метафоры. Изд. «Нового Журнала», Нью-Йорк, 1968.

камине», прислушиваться к плывущим мимо облакам... Все чувства поэта могут поменяться местами: зрение стать слухом, слух — зрением или обонянием. У Чиннова богатая палитра красочных метафор. Например: «половодье лазури». Ведь это целая картина! «Крылья белья», натянутого на веревку, — намек на ветер. Эта метафора вносит много динамики в стихотворение. Строчка «слыша жасминовый запах снежинки» воскрешает в нашей памяти белизну снега и цветка, дает ощутить их аромат, что не произошло, если бы поэт просто сказал: «запах белого жасмина» или «белой снежинки».

Символ поэтического вдохновения — крылатый конь Пегас — давно устарел, но образ «Пегаса, смешной лошадки» трогает и волнует, напоминая, что, хоть вера в мифы утрачена («Я знаю, что нет Персефоны ... и нет Эвридики»), но без мифов, без сказок мир стал беднее, печальнее... Только «чистая поэзия» есть какое-то оправдание жизни. Надо забыть уродство и пошлость людскую, созерцая мгновенную хрупкую красоту, преображающую бытие: «озеро, озаренное осанной», полет бабочек — «эти — крошки амброзии / с золотого стола», (стола «небожителей», конечно!). Надо прислушиваться к «звукам флейты», ведь они «как фиалки, гугливой свежести полны»... Лишь тогда почувствуешь, что «в мире следы чего-то другого»... В тишине вечера родится внезапный трепет, сияние, «как будто сквозь близкий шелест / ты слышишь далекий голос». Волшебный мир, память о рае, о потерянной чистоте. «Мелькнет, как в небе синица, / Рыбка-принцесса. / Но долго счастье хранится / в памяти сердца». Наша мечта ведь всегда «о чем-то бессмысленном ... невозможном», но не о полезном, нет, — о чуде!

Поэт верит, что «от нежных звуков мы полюбеем», «простим разбойника и убийцу»... Что такое стихи? — спрашивает себя автор «Метафор». «...Обман? Благая весть?» «...птица ... с масличной ветвью» — предчувствие бессмертия?

Поэзия для Чиннова — «не путеводная, нет, не полезная — но блаженно-нежная звезда». Творчество не только труд, оно — игра! Пятилетний ребенок из газеты, в которой «весть о войнах и смерти», «сделал кораблик, / плывущий по озеру». Мальчик

## БИБЛИОГРАФИЯ

этот, — говорит Чиннов, — уже творец, ибо он сделал кораблик «из вести о страшном, почти как поэт стихи».

Поэт мучительно сознает хрупкость земной красоты, страшится ее исчезновения, его тревожит «горе мира» и «мир горя», он с ужасом думает о грозном последнем часе, когда «черные кони помчатся, оскалясь / и будет растоптан земной виноградник, / растоптан тростник неразумный Паскаля»...

Редко в современной поэзии упоминается о совести: обычно в стихах изливают жалобы на Бога, на судьбу. Чиннов знает, что «много надо искупить», что «пыльный свиток, печальный список шуршит так сухо / и совесть-повесть стучится глухо ночным дождем». У него чувство, что человек виновен перед природой, не заслужил ее даров: «...прости мне всё это, / я знаю, что я недостоин».

Часто слышится в его стихах грустная, ироническая нотка. «Да, жисть жестянка, да, жисть копейка, судьба индейка». «И будет на свете / ни ад, ни чистилище, / а попросту — кладбище, / скучное зрелище». «Видимо, и нет престола Божия»... И рядом такие строки: «Я знаю — не всё ненужно, / не всё напрасно. / И небо не зря жемчужно, / светло, прекрасно». Иногда стих Чиннова звучит, как молитва — «голубая смесь / благоуханья и благоговенья».

О России поэт всегда говорит с глубокой нежностью.

Мне нужно вернуться  
за скрипом колодца,  
за криком детей у реки,  
  
за плёсом в тумане,  
за плеском у сходней,  
за лесом у светлой реки,  
  
за иволгой ранней  
за ивой прохладной,  
за тихим дыханьем реки.

Какое мастерство в сочетании звуков и слов — за плёсом, за плеском, за лесом — и в конце каждой строфы слово — «реки», которая является центром всего пейзажа и вносит столь-

ко света и прохлады в него. И как прелестно перекликаются «за иволгой ранней» с «за ивой прохладной»... Да, Игорь Чиннов владеет колдовством стиха, он истинный «чародей», претворяющий серый «день» в «райскую птицу»...

*О. Можайская*

## ВОСПОМИНАНИЯ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ

Книга под заглавием «Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля» новостью на книжном рынке не является: «Воспоминания» эти были опубликованы в 5-ом и 6-ом томах «Белого Дела», но склад издания сгорел во время последней войны и «Воспоминания» сделали библиографической редкостью. Полтора-два года назад издательство «Посев» переиздало фотографическим способом оба тома «Белого Дела», соединив их в одной книге. Книга издана тщательно, имеет много иллюстраций. Объем книги — около 600 страниц.

Содержание книги не совсем соответствует ее заголовку: кроме воспоминаний покойного Главнокомандующего, в книге имеется и другой материал, тщательно собранный, разработанный и подготовленный как самим ген. Врангелем, так и его соратниками и друзьями. Редактирование «Воспоминаний» было поручено ген. А. А. фон Лампе.

Хотя книга, о которой идет речь, по признанию самого автора, «не может претендовать на полноту и всесторонность исторического исследования», тем не менее она всё же имеет известное историческое значение как тщательно проверенное и документально подготовленное свидетельское показание одного из ответственных деятелей гражданской войны на Юге России.

Конечно, требовать от автора и его сотрудников абсолютной объективности невозможно: пятьдесят лет назад, в момент создания книги, страсти, вызванные гражданской войной, еще далеко не улеглись. Даже теперь, когда события, о которых повествует ген. Врангель, ничто иное как «дела давно минувших дней», чтение об этих «делах» до сих пор может вызвать вол-

---

Воспоминания ген. П. Н. Врангеля. Изд-во «Посев», Франкфурт-на-Майне. 1970.



## БИБЛИОГРАФИЯ

нение в сердцах русских людей, особенно у бывших участников гражданской войны.

Однако сейчас, когда все «свидетели» уже дали на «суде Истории» свои показания, больше всего, при чтении «Воспоминаний», может заинтересовать читателя не так сами события, как личность автора книги и его взгляд на события, им описанные. Для этой цели напомним кратко читателям некоторые детали из биографии автора, которых в книге нет. Генерал Врангель был особым, исключительным человеком.

Прежде всего, был он человеком военным и по своей природе, и по своему призванию, и по своему темпераменту. Повидимому, под влиянием домашних обстоятельств молодой барон Врангель поступил в Горный институт в Петербурге и окончил его в начале текущего столетия. Военскую повинность молодой инженер отбывал в Лейб-Гвардии Конном полку, где и был произведен в корнеты запаса гвардейской кавалерии. В Русско-Японскую войну, по личному желанию, принял участие в войне в составе одного из полков Забайкальского Казачьего Войска. После войны был зачислен офицером в Лейб-Гвардии Конный полк, а в 1910 г. окончил Академию Генерального Штаба. Не думаю, что учение в Академии очень затрудняло автора: у молодого гвардейца за спиной был Горный институт — одно из труднейших специальных учебных заведений в России.

Широко образованный, исключительно способный, не лишенный честолюбия молодой гвардейский офицер был лично известен Государю. На войну 1914 г. вышел командиром эскадрона, в одном из первых боев «заработал» орден Георгия. Во время войны получил ряд боевых наград и незадолго до революции был произведен в генералы...

Теперь вернемся к воспоминаниям. После захвата власти большевиками, генерал Врангель, получив разрешение генерала Духонина покинуть Армию, поселился в Крыму. По редким сведениям, доходившим в это бурное время до Крыма, генерал Врангель узнал об убийстве генерала Духонина, о бегстве Быховских узников и о зреющей на Дону «контрреволюции», но в «прочность последней, зная казаков, верил мало». Вскоре Крым был занят большевиками, начался террор, но генералу

Врангелю удалось, благодаря хлопотам жены, избежать расстрела. Весной 1918 г. Крым был занят немцами, в Киеве воцарился Скоропадский, с которым генерал Врангель издавна был в дружеских отношениях. Желая ближе ознакомиться с положением дел на Украине, а также побывать в своем имении в Белоруссии, генерал Врангель поехал в Киев, где встретил многих старых знакомых и соратников. Несмотря на заманчивые предложения гетмана Скоропадского, генерал Врангель решил ехать в Добровольческую Армию и в конце августа 1918 г. прибыл в Екатеринодар.

О блестящей службе автора «Воспоминаний» в рядах Добровольческой Армии, о его боевых подвигах на всех фронтах, где возникала надобность в его участии, в книге имеются весьма обстоятельные и подробные описания. Тяжелое впечатление производят последние главы первой части «Воспоминаний», в которых автор подробно и со ссылками на документы рассказывает о причинах своего расхождения с Главным Командованием Добровольческой Армии.

Вторая часть «Воспоминаний» начинается с момента перехода власти в руки генерала Врангеля (22 марта 1918 г.). Также подробно и ссылаясь на документы, генерал Врангель описывает обстоятельства, при которых ему необходимо было с первых дней прихода к власти заняться приведением в порядок войск и реорганизацией тыловых учреждений, причем в «Воспоминаниях» настойчиво упоминается об «утере боеспособности» войск, прибывших в Крым из Новороссийска. Однако «дух Армии» в тех частях, которые с начала гражданской войны составляли главное ядро Армии, настолько сохранился, что уже в конце марта корпус генерала Кутепова имел возможность успешно вести упорные бои на Перекопе.

Имеется в «Воспоминаниях» и весьма подробное изложение тех реформ государственного порядка (земельная и земская реформы), которые были проведены генералом Врангелем во время пребывания его у власти. Переписка с представителями иностранных держав приведена в книге буквально и снабжена переводами на русский язык.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Генерал Врангель во весь период своего пребывания у власти сознавал, что военные успехи Армии, которую он в этот период времени вел от одной победы к другой, должны были окончиться тотчас, как только окончится война Советского Союза с Польшей, и поэтому он не был застигнут врасплох: к моменту эвакуации в Крымских портах были сосредоточены все перевозочные средства, которые находились в распоряжении Командования. Из Крыма было вывезено более 150 тысяч человек, т. е. всё то количество людей, которое могло разместиться на переполненных до отказа судах, принадлежащих Командованию. Крымская эвакуация — великий подвиг генерала Врангеля, память о котором должны хранить все, кто был вывезен из Крыма в ноябре 1920 г. Даже П. Н. Милуков, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к генералу Врангелю, сообщая весной 1928 г. о смерти Главнокомандующего, имел мужество написать в «Последних Новостях» (привожу по памяти): Эвакуация Крыма — лучший венок на могилу покойного.

«Воспоминания» заканчиваются моментом оставления Крыма Русской Армией. Однако деятельность генерала Врангеля на этом не закончилась: до самой своей смерти генерал Врангель всю свою энергию направлял не без успеха на организацию жизни Белых Воинов за рубежом. Это тоже подвиг, достойный высшей награды, но упоминаний об этом подвиге в печати, увы, почти не осталось.

*Арх. Слизской*

## ПРОБЛЕМА БЕССМЕРТИЯ В ЭКУМЕНИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

В 1971 г. вышла из печати небольшая книга Георгия Бруна «Проблема бессмертия в философии св. Фомы и в современной философии». Книга издана в Риме на польском языке. В предисловии автор говорит, что текст этой книги представляет собой лишь фрагмент более обширного (до сих пор неизданного) исследования «Проблема бессмертия» и поэтому в ней

трактуются только некоторые аспекты этой сложной материи. В частности, кроме исторического очерка, автор приводит более подробное изложение своего доклада, прочитанного им на VII Международном Томистическом Конгрессе в Риме (12. IX. 1970), в котором он участвовал в качестве члена польской делегации.

Книга имеет несколько «агрегатный» характер и поэтому дает возможность рецензенту сосредоточить внимание на одной из затронутых тем, именно на экуменическом аспекте богословского и философского учения о бессмертии.

Хотя католическая доктрина и различает два вида бессмертия души: бессмертие как природное свойство души и бессмертие спасенных, выражающееся в непосредственном созерцании божественной сущности вследствие усиления познавательной силы человеческого разума светом абсолютного разума Бога, однако лишь вторая версия считается Церковью официально принятой точкой зрения. Во всяком случае, так думают томисты «казенного» толка. У самого св. Фомы эти два понятия не всегда четко различаются и часто вызывают недоумение, так как на вопрос «Каким образом душа, отрешенная после смерти от тела, может сохранить свое субстанциальное бытие?» он, оставаясь верным аристотелевской установке, ответить не в состоянии. Ибо, согласно Аристотелю, разум вне тела и помимо тела не в состоянии совершать познавательные акты. На св. Фому удобно ссылаться богословам различной и даже противоположной ориентации, так как он, признав Аристотеля философом по преимуществу, щедро черпал и от Платона, особенно из той сокровищницы, которую собрали неоплатоники и ареопагитики. Кроме того, если нужный ответ нельзя найти у св. Фомы-богослова, можно попытаться его отыскать у св. Фомы-философа. Ведь признав существование «двух истин» (религии и философии, веры и науки), он официально отказался от попытки их окончательного синтеза.

Поэтому некоторые томисты (номинальные) ценой непоследовательности развивают августиновские тезисы, которые в этой области можно свести к двум положениям: 1) трансцендентальное я путем интуитивного самосознания познает, что оно есть; 2) в этом акте интуитивного познания проявляются

## БИБЛИОГРАФИЯ

первоосновы разума, посредством которых он познает и постигает не только объективный мир, но и идею существования Бога как Абсолюта.

Автор книги пытается примирить крайние тезисы об априорности и апостериорности основных способностей разума ссылкой на то, что оба эти термина соотносительны с телесной природой человека, тогда как, по существу, первоосновы эти являются одним из двух основных элементов реальности, отражающим принципы творческой премудрости Самого Бога. Благодаря этому человек может познавать мир не как явление, как об этом учил Кант, но в подлиннике.

В экуменическом ракурсе проблемы эти представляются следующим образом.

Отцы Церкви, переплавив элементы иудейской религии в горниле эллинской философии и исходя из новозаветного Откровения и личного мистического опыта, выработали учение о бессмертии человека, как осуществлении предвечного об этом замысла Божьего. Человек был создан по образу и подобию Божию ввиду осуществления идеи Богочеловечества. Образ этот, хотя и потускневший после грехопадения, присущ человеческой природе, хотя часто пребывает в латентном состоянии.

Так как образ человека в Божьем уме соответствует образу Божьему в человеке, могло осуществиться вочеловечение Логоса, второго Лица св. Троицы. Спасение человека, т. е. его бессмертие, выразится в полной актуализации того, что имеется в человеке в состоянии потенции, что и будет состоянием обожения.

Несколько в иной перспективе выражает эту мысль и индусская религиозная философия ашрамов, утверждая, что путем аскезы, совершенствования, одухотворения и освящения человек может достигнуть «божественной жизни».

Неотделимость образа Божьего от человеческой природы провозглашает и бл. Августин, уча о «свете Слова», отраженном в каждом человеке. (Учение это, конечно, не вяжется с его позднейшим учением о предопределении к гибели, «репробации», которое он развивал в заостренном конфликте с Пелагием, учившим о свободной воле и заслуге человека в деле спа-

сения). Возможность участия человека в божественной жизни есть предустановленный атрибут человеческой природы. Схоластическое разделение на естественную, животную природу человека и Богом дарованную для избранных ко спасению и бессмертию «сверхприроду» (донум суперадитум) логически не оправдано и не защитимо.

Римская Церковь учит, что Христос-Логос сошел к нам в *гетеротетическом* порядке и затем соединил в одном лице две природы: божественную и человеческую. Мнение же Православной Церкви таково, что Логос, как образ Божий и архетип человечества, присущ человеческой душе также и в *автотетическом* порядке, как изначальный Свет, просвещающий *всякого* человека, «грядущего в мир».

Браун подчеркивает парадоксальный, по его мнению, факт, что в православном учении о человеке имеется свой максимализм и минимализм. Первый выражается в том, что Православная Церковь учит о сотворении человека богочеловеческим по своей природе, тогда как в католичестве подчеркивается мысль, что для того, чтобы стать бессмертным, человек нуждается в особой сверхблагодати. Второй же заключается в том, что в то время когда католицизм понимает бессмертие как вечное лицезрение удостоенными спасения сущности Божества, в православной науке выражается убеждение, что сущность Божества непостижима даже и для спасенных, которые смогут созерцать лишь божественные энергии. В подтверждение этого он ссылается на типичную якобы для православия апофатику (отрицательное богословие), каковую сформулировал псевдо-Дионисий Ареопагит. Здесь следует пояснить, что платоновские (неоплатоновские) элементы сильны были у многих отцов Церкви, однако они были благополучно сбалансированы позднейшими богословами, как, например, Максимом Исповедником, Симеоном Новым Богословом, Григорием Паламой и другими. Да и сам псевдо-Дионисий Ареопагит восполняет апофатическое богословие богословием катафатическим (положительным). И в этой второй области православное учение о человеке, вдохновленное прямым откровением Св. Писания, дерзает употреблять выражения, свидетельствующие о том же максимализме:

## БИБЛИОГРАФИЯ

человек призван стать *богопричастным*; он может стать по благодати тем, чем Бог есть по существу; богопричастие есть совершеннейшее соединение с Богом, вплоть до участия в жизни Св. Троицы; человечество, ипостасно соединенное со вторым Лицом Св. Троицы в личности Иисуса Христа, «восседает на престоле одесную Бога Отца» и т. п. Однако православное учение, в отличие, быть может, от римско-католического, не тщится свести всё к одной схеме. Антиномичность православной точки зрения хорошо выражена св. Григорием Паламой: «О божественной природе следует сказать, что она в одно и то же время удобопричастна и сверхпричастна... нам следует признавать две вещи одновременно и сохранять их антиномию, как мерило благочестия». Это в другом месте отмечает и Г. Браун, называя позицию восточного вероучения *антиномической* и *гиперлогической*.

Протестантизм, отрицающий Священное Предание, возвращается к букве Св. Писания, к посланиям ап. Павла по преимуществу, и поэтому склонен к фидеистическому подходу. В своем экзистенциальном пессимизме он всегда видит пропасть, разделяющую индивидуальное существование человека на земле от обетованной абсолютной реальности «жизни вечной». Протестанты отказываются от дискурсивных доказательств трансцендентных истин Откровения, но, «ухватившись за край ризы Христовой», уповают на Божью милость в деле спасения. Это не относится, конечно, к тем многочисленным протестантским сектам Северной Америки, в которых выветрился дух подлинной горячей веры и остался лишь пафос внешнего благочестия и социальной благотворительности.

Разум, изгнанный в протестантизме из богословия, развивался на автономных путях науки и философии. В рамках последней, преодолевая античное и средневековое мировоззрение, он пытался найти свой абсолютный предмет в границах тварного мира, но все больше и больше отрывался от имманенции, пока, наконец, в лице Фихте и Шеллинга, не задержался на граничном понятии Абсолюта как тождества двух элементов реальности: бытия и знания. За этим пределом открывалась неизведанная область трансценденции, в которую и проник ге-

ниальный польский философ И. Гоэнэ-Вронский. В его лице человеческая мысль на автономных путях приходит к постижению изначальной и трансцендентной триады: Архиабсолюта, Абсолюта и Логоса. Отношение ее к миру такое, какое имеется между Творцом и творением. Философия Вронского, называемая *абсолютной* или *креационистической*, вводит новые понятия, в частности упомянутые выше понятия Логоса гетеротетического и Логоса автотетического. Его антропология ближе к православной, чем к католической, и в деле спасения-бессмертия сводится к основной истине: бессмертие человека может быть обретено путем синтеза божественной благодати и заслуги человеческой, путем полного уподобления человека его божественному образу.

*Игумен Геннадий (Эйкалович)*

### ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

в № 80 журнала

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
13	16	сверху разметавшийся	разместившийся
14	5	сверху такими	какими
	6	сверху начать бы	моя
	7	сверху хорошую повесть	начинается повесть
	19	сверху и мелких	из мелких
	5	снизу простым	простым,
	4	снизу и живым человеком	НО ПРОСТЫМ человеком

Эти ошибки объясняются тем, что при распространении этих стихов в России они многократно переписывались. Редакция благодарит за присылку поправок ко всем самиздатовским произведениям.

в № 81 журнала

48      12    снизу    Торитон Уайдлер    Торнтон Уайдлер



ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»  
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,  
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,  
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,  
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ  
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране. При этом мы, естественно, не пытаемся заручиться формальным разрешением автора на такие публикации.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag,  
623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.**

**ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!**

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»**

**Содержание номеров журнала «Грани» помещено:**

с № 1 по № 58 в № 59

с № 52 по № 74 в № 74

с № 75 по № 78 в № 78

Новый каталог вышедших номеров высылается бесплатно по требованию.

**Редактирует Редакционная Коллегия**

**Главный редактор Н. Б. Тарасова**

**Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко**

---

**Адрес редакции журнала «Грани»:  
Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,  
Flurscheideweg 15**

---

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

**Новая книга в издательстве „Посев“**

*Г. Померанц*

## **НЕОПУБЛИКОВАННОЕ**

**БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ЭССЕ.  
ПУБЛИЦИСТИКА.**

**Книга распространяется Самиздатом.**

**Карманный формат, 336 стр. Обложка  
работы художника А. В. Русака.**

**Цена 16.20 н. м. В США и Канаде 5.40 дол.**



**А. АНАТОЛИЙ  
(Кузнецов)**

## **Бабий Яр**

**Роман-документ**

**Обложка художника Н. Николенко, мягкий  
переплет, карманный формат, 488 стр.**

**Цена 18.80 н. м.**

**В США и Канаде — 6.50 ам. дол.**

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

в Германии и во всех других странах,  
кроме США и Канады:

При подписке непосредственно из издательства — 30,— н. м.

При подписке через представителей  
и книжные магазины — 36,— н. м.

Цена в розничной продаже — 9,— н. м.  
(или эквивалент 9,— н. м.).

**В США и Канаде:**

При подписке непосредственно из издательства  
— 10,— ам. дол. При подписке через представителей  
и книжные магазины — 12,— ам. дол.

Цена в розничной продаже — 3,— ам. дол.

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

**POSSEV-VERLAG**

**D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15**

или же банковским переводом на  
**Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/M.**

Из Германии удобнее переводить деньги на  
**Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.**